ЗВЕЗДЫ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

18+

ДЖЕЙМС СМАЙТ



ИСКАТЕЛЬ

Искатель
Джеймс Смайт

Аннотация
Джеймс Смайт. Искатель
Часть первая
1
2
3
4
Часть вторая
1
2
3
4
5
6
7
Часть третья
1
2
3
4
5
Благодарности

Аннотация

Когда журналиста Кормака Истона выбирают для освещения первой пилотируемой экспедиции в далекий космос, он понимает, что вошел в историю, но даже не подозревает, какие ужасы его ждут впереди.

Команда выходит из гиперсна, и они выясняют, что их капитан умер прямо в капсуле, причем без всяких видимых причин. От Земли экипаж получает единственное послание: что бы ни случилось, миссия должна продолжаться. Но странные несчастные случаи множатся, люди гибнут, и в результате Кормак остается один, летит навстречу неизбежной смерти… если только не сможет все изменить. Ведь неизведанное пространство скрывает в себе немало тайн, способных радикально трансформировать реальность, что так привычна человеку.

Джеймс Смайт
Искатель

© James Smythe 2013
Translation © Ast Publishers Ltd 2026, translated under licence from HarperCollins Publishers Ltd.
© Галина Соловьева, перевод, 2026
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2026
© ООО «Издательство АСТ», 2026
Дизайн обложки: Юлия Межова

Часть первая

Я стремился не только зайти дальше, чем кто-либо до меня, но и дойти до предела возможного.

Капитан Кук

1

Поняв, что мне не вернуться домой — когда я остался один из команды, а остальные распиханы по стазис-капсулам, как застывшие куклы в вакуумной упаковке, — я первым делом составил список всех, кого больше не увижу: чтоб мне в нем купаться, плавать кругами, тоскуя по ним изо всех своих сил. Меня зовут Кормак Истон, я журналист и, пожалуй что, астронавт. В числе моих корабельных обязанностей было управление связью с родиной, съемка видео и запись новостей для прямой отправки на Землю. Никто не мог точно сказать, долго ли будут доходить наши передачи — если они вообще дойдут, учитывая расстояние и помехи, — но это было хоть что-то. Так я посылал свои доклады, полагая, что с личным они сами разберутся — передадут кому надо. Список вышел длинным. На самом верху была Елена. По ней я тосковал еще до отлета. В последние дни перед стартом пытался связаться с ней, посылал сообщения, рассказывал о своих чувствах, ведь что нас поссорило — эта моя работа, этот полет, и мне хотелось понять, нельзя ли, когда все будет позади, попробовать заново.

Говорят, надежда умирает последней. А когда я сообразил, что надежды на примирение не осталось? Тогда пришло другое. Я по ней уже не тосковал — вместо того пришло отчаяние, или какое еще есть слово для того, когда все разваливается, рассыпается и ты не справляешься? Я скрывал свои чувства от товарищей по команде, потому что не хотел испортить экспедицию, не хотел их обременять. Это попало в мои сообщения. Я говорил Елене, что скучаю по ней и всегда буду тосковать и что, если есть Бог, мы с ней еще встретимся, хоть я в это и не верю. Просто эти слова казались подходящими к случаю.

Кого я еще не увижу? Родителей, отца и мать. Родители у меня — были — учителями. Под конец жизни, уже на пенсии, мать ушла от отца, и тот решил полностью порвать со мной. В книгах пишут, что отвержение в семье часто бывает прямым результатом работы защитных механизмов психики, но он, мне кажется, просто искал предлога. Мы плохо ладили, и он, когда пропал, пропал насовсем. Не звонил поздравить с днем рождения, не писал — ничего. Я его больше пяти лет не видел. Не знаю, может, он уже умер. Иногда я так и думаю. Так проще, чем искать объяснений. Мать умерла полгода назад — что-то

с сердцем, — и на похороны отец не пришел, не позвонил — ничего. Еще у меня был кот, хотя, когда я улетал, он куда-то запропастился — обычное дело, уложенный чемодан на кровати означал отпуск, и тогда он удирал, где-то прятался, мстил за непростительную измену. С уходом Елены, честно говоря, было довольно тяжело. Мои друзья жили далеко, и их дети, и работа, и разрыв с Еленой нас разделяли. И еще моя команда — та, с которой я стартовал, с которой начинал путешествие. Команда умирала по клочкам и каплям, по ниточке, по прядке — здесь, со мной. Моя команда — я никогда на самом деле не был одним из них, даже после подготовки, потому что они понимали больше меня, понимали в технике. От них зависела экспедиция. А я был балластом. Штатские никогда не вписываются полностью; эти ребята готовились всю жизнь. Меня послали ради пиара; их — ради науки. Я мог бы возразить, что, как и они, гнался за приключением, за духом открытий — они бы, думаю, это поняли, но теперь уж им не скажешь. Они умирали один за другим, словно по списку. Первым ушел Арлен.

Арлен был первым пилотом, откуда-то со Среднего Запада — вроде бы из Огайо, но об Америке он говорил так, будто жил всюду разом, сыпал на-

званиями больших и малых городков и о каждом находил что рассказать. Он был отличным рассказчиком, такой типаж, и несколькими годами старше остальных. Когда мы знакомились, был чисто выбрит, а в полете отрастил бороду — хотел посмотреть, что с ней станет в стазисе.

«Вдруг, — говорил он, — мы вырубимся, а она будет и дальше расти. Хочу разобраться, до какой степени нас на самом деле замораживают». Нам предстояло провести в заморозке всего две недели, но он сказал, что, если будет расти достаточно быстро, он заметит разницу. Ему казалось забавным, если он, раз поспав, из аккуратиста превратится в неряху. Он любил пошутить, этот Арлен. И умер в стазисе — или просто не проснулся, как ни поверни. Мы один за другим выходили из капсул, как на тренировках, и его очередь была первой, чтобы он все подключил, прогнал диагностику до выхода остальных, только его койка почему-то не раскрылась. Пока мы ее вскрывали, с ним было кончено. Видно, что-то случилось при старте, потому что, когда мы ложились, все работало как надо: мы прогнали стресс-тесты, чтобы убедиться, а там чуть ли не защита от дураков стоит. Эти капсулы были задуманы как средство спасения на крайний случай, так что вы-

ход одной из строя не внушал нам уверенности. Все мы выходили из капсул мокрыми насквозь, потому что во сне ты потеешь, тело непрерывно теряет воду. Арлен был сухим, кожа болезненного голубовато-серого оттенка, сухая и жесткая, с нее отслаивались пыльные хлопья с ноготь величиной. Мы попробовали дефибриллятор, но без толку. Кожа потрескалась, и глаза высохли, как зефирины, и стало ясно, что остается только уложить его обратно и запечатать. Мы сказали несколько слов, уведомили Землю, кто-то поплакал, но для экспедиции, как сказал центр управления, это было не критично. Недаром мы не ограничились одним пилотом.

«Возможно всякое, — сказал нам центр управления. — Вас к этому готовили».

Второй умерла Ванда. Мы в шутку прозвали ее Юнгой, потому что ей доставалась вся мерзкая работа и она послушно исполняла все, что велит начальство. В том числе почему-то и я, хотя у меня не было официального ранга, но она вела себя так, будто был. Может, из уважения или по благовоспитанности. Не знаю. Ее завербовали прямо из университета Лиги Плюща, и вела она себя соответственно. Исполняла наши просьбы, но всегда как бы нехотя, и была кислой, грустной.

Мы решили, что скучает по дому. Она тоже была американка (они с Арленом — американский контингент: первыми в бой, первыми в отпуск, как в анекдоте какой-то давней войны) и говорила с южным акцентом, хоть и уверяла, что из Вашингтона. У нас с ней было кое-что общее — головные боли. У меня сильные головные боли при низкой гравитации — конечно, я об этом не знал, пока мы не взлетели. Думаю, такое изредка бывает у большинства. Все дело в давлении. У меня, пока мы не взлетели, голова никогда не болела, и у Ванды тоже. Нам с этим пришлось хуже всех — или мы сильнее других это чувствовали, поначалу, пока не привыкли. Ванда погибла вне корабля, в космосе. В скафандре была прореха или трещина, а мы ведь их столько раз проверяли и перепроверяли, что не поверили в ее гибель. Рутинный осмотр обшивки каждые несколько дней: мы вырубали тягу, проверяли, что все наружное оборудование в норме и корпус цел. Мы шли в новые районы космоса — первые, никто еще так далеко не заходил. С обшивкой могли возникнуть проблемы, и мы послали Юнгу — Ванду — проверить. Она была на страховке, а мы завтракали. Она вышла к верхней части корпуса, и трос натянулся, и она поплыла куда-то

с полным шлемом крови, такой густой, что мы даже лица не видели. Пока мы тянули ее внутрь, у нее под веками лопнули глаза. Шлем просто залило, как батискаф, как аквариум для золотых рыбок. Она плотно закрыла рот, зажмурила глаза, как нас учили на случай разгерметизации, а вот ноздри… Ноздрей мы не учли. После Гай предложил нам всем затыкать ноздри берушами, но мы этого не делали, потому что понимали: если шлем подведет, никакие беруши не спасут.

Гай стал третьим. Он был немец, и звали его не так. По-настоящему его звали Герхард, но это из него пришлось силком тянуть, чуть не выбивать. Он сказал, что с детства не называл себя этим именем. Просто услышав, и то злился. Гай ему больше подходило. Герхард — это какой-то толстяк, повар, суетливый усатый здоровила. Гай был не такой: щуплый, высокий и лысый, ни волосинки. Он был старшим из научных сотрудников и инженером. После смерти Ванды мы обсуждали, не повернуть ли обратно к Земле, независимо от разрешения центра, хотя еще неизвестно, удалось бы? Система не была рассчитана на разворот, пока не выгорит половина горючего, но Гай участвовал в разработке корабельных двигателей, он наверняка знал пароли для перепрограммирования

системы и внесения поправок: смены координат и пункта назначения. Все было защищено паролями и протоколами, менять их мы не могли. Мы молча уложили тело Ванды в стазис-койку, остановили ход — хотя по-настоящему, конечно, остановиться не могли, все время двигались, такова уж природа пространства, в нем не бывает неподвижности и ничто никогда не прекращается, — отправили сообщение и стали ждать ответа с Земли. В этой точке задержка сигнала была на восемь минут — четыре на отправку, четыре на ответ, — но приходилось закладывать лишнее время на всякие аномалии. Мы отправили сообщение несколько раз, чтобы наверняка, и ждали, ждали… В конце концов нам велели продолжать: сказали, что мы не можем позволить себе остановку, и велели немедленно вернуть двигатели в нормальный режим. Все жизнеобеспечение на корабле на пьезоэлектричестве, заряжается от вибраций корпуса при работающем двигателе, чтобы не расходовать горючее, и чем дольше корабль неподвижен, тем меньше времени остается у жизнеобеспечения. Этот корабль строился для движения. Нам было велено продолжать: мол, смерть Ванды не критична, — и мы повиновались — некоторое время. Квинну и Эмми это не

понравилось: они спорили, добивались разворота. Я их поддержал, и, когда они сказали Гаю, что разворачивают корабль, разразился настоящий скандал. Квинн орал, ссылаясь на моральную сторону (погибли люди, мы им кое-чем обязаны) и на самосохранение (погибли люди, и может быть, не последние), а Гай вдруг ухватился за стену и за сердце, стал драть грудь ногтями, колотил по ней, как колотят в драке в чужую грудь — натуральный сердечный приступ. В невесомости это смотрелось страшнее, чем при нормальной гравитации: в норме ждешь, что человек осядет на пол, а Гай, как волк из мультфильма, будто валился в пропасть, в падении хватаясь за грудь. Как сказала в тот вечер Эмми, утешая нас или пытаясь утешить, это бы и так могло случиться. А Гай был не в себе: принялся обвинять меня во всяком, превратился в параноика, что-то ему мерещилось. Никто не знает, что такое давление делает с человеческим телом, не говоря уж о мозге. Мы зашли туда, где раньше никто не бывал, и нам пришлось с этим смириться и двигаться дальше. Мы все были в форме, насколько это возможно: либо справимся, либо нет.

Квинн стал следующим, и с ним вышло почти забавно, как будто сцена из какого-нибудь

пугающего телешоу, когда ждешь, что ведущий признается, мол, все это была подстроенная шутка. Он был вторым пилотом, но всегда называл себя сторожем.

«Мое дело — изредка нажимать кнопки», — сказал он мне на первом интервью. Я журналист, за тем меня и взяли: мое дело — документировать, снимать ролики, описывать. Мы живем в интересное время, мы умеем запоминать навсегда, не то что во времена бумаги, которая выцветает, слоится и рвется. Данные живут вечно, и настала новая эпоха журналистики: эпоха сохранности. Перед отлетом все говорили, что мне могут дать Пулитцеровскую премию. Мое дело — описать приключения людей, зашедших туда, где никто еще не бывал. Материал для фильмов, книг и грез: человечество снова исследует неведомое, пересекает пустыни, добирается до полюсов, разведывает глубины. Мы делаем это потому, что можем, — это первая строка моей статьи. В фильме я свое имя вывожу на экран четвертым, после других действующих лиц. Я — мальчик на побегушках. Звезды: Арлен — его скорая смерть стала поразительным твистом, его роль почти эпизодическая — и Квинн, но лицо Квинна на постере самое крупное. Квинн красив и чертовски

обаятелен. Он похож на принца или какого-нибудь арабского посла: темноволосый, с острым подбородком и водянисто-голубыми глазами — что удивительно при его происхождении. Предки Квинна — британцы со Шри-Ланки, но юность он провел большей частью в Калифорнии. У него был любопытный английский выговор, такой тягучий — он иногда перескакивал на него на заезженных фразах, когда просил чаю, сэндвич, надеть хоть какие-то штаны, а так говорил, как говорят на Западном побережье, гладко и быстро. Когда умер Квинн, я был снаружи — занимался проводкой в попытке справиться с компьютерами. Корабль не полагалось покидать поодиночке, но нас осталось мало. Пропала связь с центром управления, и мы запаниковали: пытались развернуть корабль, а для этого надо было перехватить контроль систем, а для этого кое-что переналадить вне корабля, и еще компьютерную систему внутри. Когда я вернулся, Эмми рыдала — совершенно в истерике. Не успокоить. Слов я не разбирал, но она рыдала безутешно, а Квинн лежал на полу, закатив глаза, и у головы скопилась кровь, потому что он упал — но двигатели не работали, и мы не двигались, и гравитация, сколько ее было, сделала свое дело: он неудачно

ударился головой о стену — ужасная случайность, такое могло случиться с кем угодно, а я не мог добиться от Эмми, чтобы попыталась его спасти, — она только визжала. Я заглянул ей в глаза — ничего живого. Честное слово, это было страшно. У нее руки были в крови, и выглядело это… или могло бы выглядеть, будто это ее рук дело, но она не отвечала на вопросы, и должен же я кому-то верить. Никуда не денешься. Я навел порядок и снова включил двигатели. Тело перевалил в стазис-койку (вы когда-нибудь пробовали переносить тело в условиях микрогравитации? Оно парит, вихляется и неизбежно налетает на вас, и вы готовы забыть, что это тело: остается масса и форма, но веса в нем) и загерметизировал, как остальные, оставив подглядывать сквозь стекло, пока не вернемся домой. Все они выглядели спящими, кроме Ванды — у той глаза были в крови. Не знаю, почему мы не вытерли кровь, прежде чем уложить ее спать. И вот осталось двое. Последней — кроме меня, если я тоже умру, — стала Эмми.

Эмми умерла — я пишу так, хотя, может, все не так плохо, может, еще что-то можно сделать — через считаные часы после Квинна. Мы почти не разговаривали, потому что с ней что-то

творилось, думаю, с психикой. О таком нас тоже предупреждали: срывы. Она будто винила во всех смертях меня и смотреть на меня по-человечески не хотела. Орала, что это я виноват, я в ответе за все. Назвала убийцей. Мы не разговаривали, и спать она не желала. В конце концов я забеспокоился, что во сне со мной что-то случится — вдруг показалось, что она способна что-то такое сделать, — поэтому я почти все время держал ее под успокоительными и пристегнул к койке. Нас предупреждали во время подготовки, какая это будет нагрузка для психики. Я вроде был в порядке, но Эмми несла всю тяжесть этого предупреждения. На тренировках они говорили обиняками, будто бы шутя, но никогда не знаешь, какая доля шутки в тех шутках. А потом полет и все эти смерти! Разве тут сохранишь здравый рассудок? Я сам не знаю, как держался — если держался. Мы снизили нагрузку, и я послал домой еще одно сообщение, не зная, дойдет ли, и молился, молился, чтобы они как-нибудь сумели ответить, а часы тикали и жизнеобеспечение тихонько гудело. Мы понимали, что на нас двоих запасов мощности хватит на день или около того: в расчете на шестерых было шесть часов, так что мы кое-как подсчитали, взяв за основу

объем своих легких и запасные баллоны, которые можно было ободрать с ненужных теперь скафандров и подключить к системе. Вот так мы сидели, и она молчала, пока не решила со мной заговорить. Угрожающе, будто злодейка из кино, уверяла, что она в порядке, пыталась провести сеанс психоанализа и ничего не добилась. Я так напугался — за свою жизнь, если она попробует что-то сделать, пока я сплю или отвлекусь, — что пришлось ее усыпить. Пришлось. Пришлось ее усыпить, а потом я ввел ее в стазис и уложил в койку до возвращения домой, чтобы там ее разбудили и привели в порядок. Мне пришлось.

Это было дня два назад. Она пропустила лучшую часть пути, когда мы — я — достигли предельного расхода горючего, отметки 51 %, на которой кораблю полагалось развернуться и отправить нас к дому. Он не развернулся, и я смотрел, как показатель подходит к 52 %, а потом переползает и эту отметку, и ждал, что будет. Я ждал бога из машины: чтобы что-то этак механически лязгнуло, и корабельные двигатели заработали, разворачивая нас по изящной кривой, а там вдали покажется Земля — светящаяся точка, как булавкой проколотая. Мне предстояло наблюдать все это на мониторах, вспоминать пройденные нами

созвездия, смеяться, видя, как те, что были справа, теперь слева, и весело махать им в окошко. Я посмотрел, как показания меняются от 50 к 51, и остановил корабль. Это я умел — кнопка остановки большая и зеленая, как в мультфильмах. Заморозка всех систем перед автоматическим отключением. Они переводятся в энергетическое положение ниже нижнего, чтобы сохраниться, как телевизор или компьютер. А там: динь! — вы их снова разбудите. Если где-то проблема, загорается красный огонек, и из динамика системы раздается гудок — протяжный, основательный, раздражающий. Должно быть, дизайнеры насмотрелись научной фантастики. Я воображал, как искусственный интеллект компьютера на манер опоздавшего студента спохватится, что тревога не сработала, и бросится исправлять. Этого не случилось, и тогда я перезагрузил все, что было, на продолжение поступательного движения. Я извел два процента горючего, гадая, не пропустил ли разворота, может, мы уже летим куда надо, к дому, — но я не пропустил и летели мы не туда. Вот оно как: я двигаюсь вперед, пока не кончится горючее, а потом продержусь на жизнеобеспечении — один, наверное, продержусь неделю, если не стану глубоко дышать, а потом

останутся запасные кислородные баллоны на наружных скафандрах, а потом воздух кончится, и я умру. Во многих отношениях это успокаивает — знать, что это, скорее всего, случится. Помнится, много лет назад я читал в газете о журналисте, который знал, что болен раком, что умирает, и говорил, что ему так легче. Он продолжал идти вперед, и его семья это тоже приняла.

Потом ходили слухи, что его жена стала встречаться с другим, даже не дождавшись его смерти, потому что он так хотел. Не все так себя ведут, но он поступал так — ему это приносило успокоение.

Пожалуй, мне только такое успокоение теперь и осталось.

2

Ем я в одиночестве — а вернее, ем в помещении со всеми капсулами и мертвыми коллегами, потому что либо так, либо в кабине или другой части корабля. Машинный зал у нас просторный: несколько больших помещений, набитых непонятной мне техникой — все для переработки воды и воздуха и для движения вперед; и еще кладовые, они бы пустовали, не будь набиты ящиками с неиспользованными припасами. Энергоснабжение на грани — еще год назад его только-только хватало стартовать. Хватило. Не понимаю, как мы могли сомневаться.

Поразительно, как быстро начинаешь скучать. Эмми всего два дня как умерла — я по-прежнему так говорю, потому что в норме мы бы добрались до дома, и ее бы разбудили и как-то помогли, лекарствами или операцией — как-нибудь привели бы ее в чувство. Но здесь она мертва. Я знаю, что мы не вернемся, и никакая капсула не доберется к кораблю, чтобы передать мне план спасения. Я хочу сказать, у них там таких и не было.

Им бы пришлось так долго ко мне добираться, что, пока добрались бы, меня бы не было в живых.

Никакого запасного плана.

Я здесь как вампир, сижу в темноте, в одиночестве и мечтаю о чем-нибудь — что угодно, только бы стало не так, как есть. Я отключил освещение — щелкнул выключателем, когда компьютер заорал, что мы идем на сближение с астероидом (подсказка на экране сказала, это Нерей), — просто чтобы посмотреть, правда. Только я его не увидел — в натуре. Техника показала его на экране: она выдает графические компиляции и снабжает данными. Экран нарисовал мне путь астероида, я видел вдали его хвост, он уходит к Земле, а там заложит крюк, пройдя так близко, что взбудоражит всех спящих астрономов. Земля отсюда — искорка, проблеск, светящаяся точка. Мы здесь, в пространстве, по двум причинам. Гая интересовали аномалии — те, что ни зондам, ни спутникам, ни телескопам никак не отследить: дальше изведанных нами пределов космоса. Но была и добавочная причина: науку оттеснили на задний план ради кое-чего не столь осязаемого. Первой нашей целью было вдохновить людей, стать первооткрывателями. Показать, что мы — все человечество — еще можем уйти дальше, раздвинуть границы возможного. В наше время никто не делает открытий, так что мы были

новым авангардом. Это так волновало, было так важно. Мы метили в герои.

Свет выключен по всему кораблю, и я решил его больше не включать. Не нужен, пока не нужен. Здесь смотреть особенно не на что, а мне хватает подсветки стазис-коек и панелей. Никто здесь еще не бывал, и многие годы — если не больше — не будет. Зачем бы им рисковать? Мне нравится, что никто не узнает, что случилось. Из того, что контактные капсулы не вернулись к Луне, не связались с наземным центром управления и УПИ Минобороны[1], там сделают вывод, что с нами что-то случилось. А случиться могло многое, и каждая вероятность потянет на целый кинофильм. Мы вступили в первый контакт и теперь к Земле возвращаются наши обломки? Кто-то из экипажа заполучил космическую горячку и поубивал остальных? Пробоина в обшивке? Столкнулись с луной, с роем астероидов, с никем не предусмотренной космической аномалией — сделали Открытие? Течь в топливных баках, горючее кончилось, мы дрейфуем в пространстве? Мы вовсе не покидали Земли, а старт был фальшивкой, павильонные съемки? Они будут

[1] Примечания: 1

Здесь и далее — аббревиатура, означающая управление перспективных исследований Министерства обороны США.– *Прим. пер.*

прогонять и другие сценарии, потому что им надо понять, что с нами случилось, что отбросило их назад на пятнадцать лет. В следующий раз на первом месте будет безопасность, минимизация рисков. Они годами будут спорить, стоит ли рисковать; и решатся, только если найдется настоящая цель, настоящая причина (может, ради колонизации или топлива). Пройдут десятилетия, пока они сочтут это безопасным, и корабль построят не по нашему прототипу и загоняют испытаниями до полусмерти. Чтобы сэкономить энергию, старт произведут с Луны, и корабль будет больше, и запас горючего больше, и команда — из пилотов да инженеров. Без бесполезного груза, без всяких там журналистов. Под завязку набит предохранителями, без которых мы обошлись, — вроде автопилота с искусственным интеллектом. Как бы там ни было, тот корабль взлетит и вернется, сделает то, для чего предназначен, хотя бы весь экипаж постигла никому не ведомая судьба. Может, команды вовсе не будет — так меньше вероятность ошибок.

На корабле чистота, совершенно клиническая. Как в операционной, а не как во врачебном кабинете — возиться тут не с чем. На полу не прочерчены направляющие линии, ни экранов,

ни сирен. Только панели управления компьютерами и столы с прозрачными крышками, под которыми видно, что внутри: пищевые батончики, книги, медоборудование. На стене главной каюты пластиковые кресла — они раскладываются от стены, как в кино, и на краях клипсы, пристегивающиеся к штырькам на боковых швах наших брюк, чтобы мы сидели, не всплывая. Нам полагалось на время приема пищи собираться вместе. Какой-то психолог продумал целый список правил, чтобы помочь нам ладить между собой в таком долгом рейсе.

«Это создает чувство товарищества, — говорили они, — напоминает об уюте и безопасности: вы не одиноки, вы часть целого, вместе трудитесь ради единой цели. Подсознательно вы будете вспоминать домашние обеды с семьей».

«Классная мысль, — сказал, помнится, Квинн, — только моя матушка не стряпала дерьмовых батончиков в целлофановой упаковке».

Понятно, здесь нет ни ножей, ни вилок, только сотни пайковых упаковок. Спонсорами были разные продовольственные компании, и на вкус все похоже на настоящие бургеры, чипсы и пудинги, только в виде батончиков, твердых и хрустящих, если разогреть, а так мягких и влажных. У нас

есть тренажеры, обеспечивающие физическую нагрузку, есть эспандеры, нам полагалось работать на них по полчаса в день, чтобы избежать потери костной массы. Еще есть койки для сна и для стазиса — в них спали каждую ночь. Они наклонены на сорок пять градусов, а мягкие бортики по краям не дают сползти. И еще нас удерживают на месте мягкие ремни. Всем нам раз-другой случалось поспать в воздухе. Почему бы нет? У них у всех есть дверцы. Стекло заиндевело, но все-таки сквозь него видны тела. У нас тут есть все, что может понадобиться: что-то вроде рубки, гостиной, спальни, каюты. Можно сказать, высший класс.

Я подумывал покончить с собой, но что-то удерживает. «Подумай, — говорит оно, — ты побываешь там, где никто еще не бывал. Такого глубокого космоса никто еще не видел. Ты войдешь в историю».

«Но ведь никто не узнает», — отвечаю я, но это «что-то» не отвечает, а просто торчит там в темноте. Я занимаю свое место в кресле в носовой части корабля и решаюсь пойти наперекор.

Я принимаю снотворные таблетки. Не знаю, чего хочу этим добиться. Снотворные — это крик о помощи, не так ли? Глотаю горсть, потому что

не знаю, сколько требуется: их даже не в аптечке держали — раздавали каждому про запас, сказав, что возможны нарушения сна. Вытошнив их в белый бумажный пакет, я уничтожаю отходы. Чувствую себя ужасно. Не понимаю, зачем я это сделал. Я никогда таким не был. Не было во мне такой силы.

Хуже не бывает, когда какая-то техника дает гудок, а ты не знаешь, что делать. Тут целая панель с переключателями рядом с большой кнопкой «пуск/пауза», а на экране ничего не значащий жаргон. Приятно видеть расположение звезд — не знаю, почему это устройство предусмотрели только для инженеров. Указатель горючего я понимаю, и аккумуляторов тоже — у нас осталось 42% горючего, 93% пьезоэлектрической мощности, резерв энергии на шесть часов,– и я умею определить, что жизнеобеспечение в рабочем режиме. На экране мигают крошечные циферки: 250480. Я не узнаю число и не знаю, что оно обозначает. Оно в маленьком окошке, такие выскакивают, когда слетает компьютер, или когда открываешь программу, или как напоминалка о назначенной встрече. И еще он попискивает и зажигает красный огонечек не больше булавочной головки, и тот начинает мигать — одинокая

лампочка, я бы ее даже не заметил, если бы не висел прямо над ней. В компьютере установлена система поддержки, так что я открыл другой экран и задал на нем поиск среди тысяч документов тех, что относятся к работе шаттла, но ничего не получил. 250480 — и ничего. Похоже, это ни к чему не относится, ничего не значит.

«Не обращай внимания», — говорю я себе.

Вот что интересно: возможно, мы могли бы двигаться быстрее, чем двигались. Двигатели у нас установлены двухлетней давности, а с тех пор техника невероятно шагнула вперед. Мы могли бы набрать скорость раза в три больше, но тогда расход горючего едва позволил бы добраться до Луны. Вот с сигналами в космосе другое дело, это же волны. Нам с их скоростью не равняться, потому что они ничего не весят. Мы задаем им расстояние и направление, выстреливаем их, и — ба-бах! — они попадают в цель. Дальней связи у нас не было после ухода с орбиты — технически говоря, из магнитосферы, так мне объясняли ученые. Может быть, это пришло сообщение. Может, дошел какой-то подпространственный сигнал — 250480. Может, так мне сообщают, что я доберусь домой.

Стоит мне разволноваться, огонек гаснет, а че-

рез секунду или две обрываются и гудки. 250480 все еще висит на экране, но его скоро заслоняет вылезший список датчиков: горючее 41 %, энергия 49 %, жизнеобеспечение — на шесть часов.

Небо вокруг красивое. Мы — то есть те, кто в космосе, забравшиеся туда, где никто не бывал, — не называем его небом, и даже космосом не называем. Мы обозначаем его как настоящее пространство: чернотой, Мраком — как что-то непонятное. Мы подбираем другие слова, описываем так, чтобы людям оно показалось привлекательным, красивым, трогательным, значительным. Мы наполняем его тайной: это неизвестность, нечто совсем иное, анормальное, пугающее, неподвижное и вообще потустороннее в самом буквальном смысле слова. Здесь, так близко, что рукой подать, это просто пространство — если бы и захотелось, не к чему там тянуться. И нет горизонта, чтобы ориентироваться, невозможно сказать, где мы. Мы можем сказать: «Ну, мы прошли столько-то» — я могу сказать: «Ну, я прошел столько-то, я знаю, сколько горючего истратил корабль, почему бы и нет, вряд ли счетчики врут», — но по сравнению с тем, что за бортом, это ничто. Просто число. На такой глубине ничего нет. Темнота, как нефть или

смола. Звезд я не вижу. Я погружаюсь в ничто. Я им упиваюсь.

В корабле есть такая штука, мы называем ее Пузырем — встроенный в потолок главного зала выпуклый купол из непроницаемого пластика, дающий обзор на 360 градусов вокруг себя, — и когда они еще все были живы, я смотрел, а они мне объясняли, что мы видим: Землю, когда свет был подходящим. С такого расстояния она казалась почти целиком белой, блестящей, как монетка.

Когда мы в первый раз проснулись, я только на нее и смотрел, даже пока мы занимались телом Арлена. Задавал компьютеру самое высокое разрешение. Мы вылетали в августе, облачность была редкая. В первую пару дней я ловил себя на том, что слежу за оставшейся позади Землей, поражаюсь, как темная половина, почти безупречная черта, прочерченная по Земле, скребет по проворачивающейся планете, медленно стягивает одеяло и будит людей. В любой момент можно было увидеть, где еще спят, города светятся угольками, а сколько уже проснулись, гасят свет, берутся за дела. В цифровой телескоп нам видны были суда в море и прочерченные ими следы за кормой — блестящие следы за мелкими точками — такие оставляют слизняки. Мы виде-

ли взлетающие в воздух самолеты, коммерческие рейсы. Видели очертания городов и различали в них лица — и в облаках тоже лица, только на изнанке.

В космосе становишься философом, чувствуешь себя не собой — другим человеком. Когда смотришь в небо снизу, привычно называешь то, что над тобой, небом, но если ты — его часть, то что оно такое? Ничто или все. Просто то, где ты есть. Здесь, посреди космоса, или в конце его, или в начале, понятия не имею, здесь — это просто то, где я сейчас.

Компьютер снова пищит. Прошло несколько часов, а может, и дней, когда я о нем не вспоминал. Я спал. Эта неизменная полная тьма незаметно нагоняет усталость. Интересно знать, как обходятся в Арктике или в Исландии. У нас здесь есть часы, но они спрятаны в компьютеры, поэтому забываешь, когда начинается день и кончается ночь — или наоборот. Запросто можно заснуть, когда не положено. Откуда мне знать, может, в сутках теперь десять часов.

Гудки пробивают гул двигателей, и огонек, хоть и крохотный, виден через весь зал. На экране то же сообщение, тот же набор цифр, и снова программа поддержки в окошке поиска ничего

не дает. Горючего теперь 31 %, похоже, расходуется быстрее, чем я рассчитывал, и быстрее, чем мне бы хотелось. Быстрее, чем должно, и неизвестно на что. Я копирую выданные компьютером цифры обратно в него, как пароль или инструкцию, — может, он так предлагает мне помощь, разумный выход из положения — но ничего не меняется. Пилоты наверняка должны были знать, что с этим делать. Арлен повернул бы рычажок, один из сотен переключателей с цифровыми обозначениями и аббревиатурами, и все бы кончилось. Квинн бы постучал пальцем по экрану, улыбнулся бы цифрам.

«Нашли они нас, — сказал бы он. — В такой-то дали! И захватили с собой наши любимые лакомства и напитки!» И мы бы поели за столом, подключив силу тяжести, и не волновались бы насчет расхода энергии, и о возвращении домой не волновались бы, потому что уже были бы там.

Через несколько часов гудки прекращаются. У корабля осталось 30 %.

Уходит по проценту за несколько часов. Я взялся как следует отслеживать. В разделе поддержки прочитал, как посмотреть диагностику — я все там перечитал от корки до корки, хоть они и цифровые, — которая позволяет увидеть точные

данные, увидеть, как горючее расходуется миллиметр за миллиметром, но так неинтересно. Я придумал игру, смогу ли я предсказать, когда значение упадет в следующий раз. Это почти искусство: у двигателей на удивление постоянный расход горючего, а здесь нет сопротивления среды, чтобы нам в ней увязнуть, замедлиться, изменить расчеты. Сначала я ошибся на три часа, с третьего раза — на двадцать минут. Когда осталось 33 %, я уже вел обратный отсчет.

В кино бывает момент, когда эти слова повторяются: пошел обратный отсчет, обратный отсчет, обратный отсчет,– и мы линяем к началу экспедиции, где все пристегнуты к стазис-койкам. Нам разрешили провести в них не больше двух суток — норма, выведенная не столько из проведенных испытаний (мы полагали, что испытывают на обезьянах, но вопросов не задавали), сколько из сокращения подачи кислорода — чтобы тормозить процессы, поддерживать стабильность. Мы спрашивали, что бывает от излишка — или от недостатка — кислорода, а врачи отвечали, что могут случиться судороги или что-то такое. Журналисты замечают отговорки. Так игроки умеют замечать блеф или когда кому-то пришли тузы. Только при моей профессии это заходит

еще дальше, делаешь еще один шаг. Замечаешь признаки, что давить не стоит. Не тронь, лучше будет. Врачи что-то знали или подозревали, и мы подписали документы, что на нас не оказывали давления, что мы сами согласились на полет и связанные с ним риски. Лучше не знать. Старт был автоматический, мы все спали, пока не услышали из динамика над собой голос, ведущий обратный отсчет. (Я полагаю, они его услышали, хотя доказать не могу.) Стазис — странное состояние: ты заморожен, но не мерзнешь. На самом деле просто спишь, но препараты, которыми нас накачали, отключают в организме все, что можно отключить без ущерба, и во время сна понижают температуру. Просыпаешься мокрым насквозь — это в фантастических фильмах семидесятых довольно верно показывали,– но это от собственного пота. Тебя не трясет, никакого похмелья, тошноты. Пришел в себя — прими душ. (У нас в корме есть камера — в раздевалке у шлюза,– в которую надо забраться. Упираешься в потолок — чтобы не всплыть,– и камера наполняется мыльной водой, потом ее откачивают и снова наполняют переработанной водой, и ее тоже откачивают. Я много дней не мылся, все забываю.) Стазис понадобился из-за перегрузок — Квинн,

пока мы пристегивались, объяснял мне, что ускорение при старте, когда прорываемся сквозь земную атмосферу, так велико, что нас бы всех переломало при старте, а потом мы проходим почти вплотную к Луне, чтобы разогнаться, вырываясь из ее гравитационного поля, и тогда набираем такую скорость, что неизбежны перепады давления, а температура понизится так, что не выжить. Стазис позволил нам остаться в целости и сохранности. Это всего на несколько суток — но почему тогда было не проспать большую часть пути? Мы проснулись уже далеко за Луной, и нашли Арлена, и занимались им, а потом по очереди помылись в душе и открыли на несколько минут сток, чтобы всосал всю плавающую вокруг воду. К тому времени мы вполне проснулись и занялись делами: проверкой систем и состояния здоровья, заметками, записью интервью, наблюдением за Землей, превращающейся в точку в Пузыре.

Половина процентного цикла прошла. На обед сегодня батончик со вкусом ветчины, на десерт батончик со вкусом шоколадного кекса. Попозже я сегодня вскрою бутылку воды и посмотрю, как она повисает в воздухе воздушным шариком, а потом постараюсь втянуть ее через соломинку, плавая вокруг и гоняясь за ним.

Я рассматриваю свою бороду в зеркальной фольге обертки — она отражает меня искаженным, как будто это вовсе не я. Я пока не сомневаюсь в своем рассудке, хотя, пожалуй, пора бы — но замечаю, что борода стала отрастать, потому что я не бреюсь, потому что не слежу за собой, как, наверное, стоило бы. Я все еще точно такой, как был. Я по одному осматриваю членов экипажа — посмотреть, нет ли изменений. У Арлена борода не растет — говорят, после смерти такое бывает, но я ведь его заморозил. Я их всех заморозил. Мы не меняемся, даже здесь, в такой дали.

27 %, и все на паузе, я нажал большую кнопку, когда моргнул счетчик горючего. В аккумуляторах резерв на шесть часов жизнеобеспечения — но это тоже в расчете на полную команду, так что мне хватит на день с лишним, может, ближе к двум дням — еще два дня сидеть здесь, на краю пустоты. Я гадаю, протяну ли столько. Я вхожу в компьютер, открываю свои файлы. Там все мои записи интервью. На много часов записей, разбитых по категориям: переживания перед стартом, истории детства, мгновения славы, мысли о команде, мысли о космосе, мысли друг о друге, о самих интервью, какими им хотелось бы запомниться, проблемы с космосом, проблемы с

техникой, рассуждения: что значит быть героем, что значит быть первооткрывателем. Я раскладываю их в хронологическом порядке и кликаю первое. На экране лицо Эмми, оно заполняет экран на переборке в дальнем конце зала, и голос из динамика на потолке слышен совершенно отчетливо.

«Я начинала с работы в больнице — училась в Брисбене и Сиднее, потом перевелась в Лондонский колледж, а работала в больнице Святого Барнабаса. Три года работы в больнице, а потом меня, так сказать, завербовали. — Она смеется. — Завербовали! Так это называется. И еще три года подготовки, прежде чем меня спросили, хочу ли я лететь. Мы проходили тройные испытания на невесомость. Поднимали нас в шаттле, потом роняли в атмосферу, а нам надо было провести операцию. Ненастоящую, на манекенах, но в них были мешки с кровью, и мы видели, как она плавает в воздухе. Как это будет, если кому понадобится, — не знаю… ампутация, а гравитацию не стабилизировать. Может, придется оперировать в невесомости, и мы должны были знать, какие возможны осложнения, как с ними справляться. Там требуется больше зажимов и тампонов».

От одного ее голоса мне становится так хоро-

шо, как много дней не бывало. На экране она выглядит молодой, симпатичной, светловолосой австралийкой, как и ожидаешь. В стазис-койке у нее глаза застыли открытыми — я забыл их закрыть, не знаю почему, может, подсознательно, как говорят мозгоправы, хотел, чтобы она на меня смотрела, — и в свете экранов у нее застывший, неподвижный взгляд. Размен: я предпочел видеть их открытыми и мертвыми в стазисе, а живыми на экране, чем вовсе не видеть.

«Я раньше работала в Судане, ездила с профилактическими осмотрами; иногда кому-то требовалась помощь — что-нибудь вроде разрыва связок, но ничего экстраординарного. Чаще всего там было недоедание, голод. Я таких ужасов насмотрелась. А потом меня спросили, не хочу ли заняться более трудным и вдохновляющим делом».

Я смотрю видео, пока не отключаюсь. Она так напоминает мне Елену, не знаю уж чем.

Предки Елены были греки. Она подходила под стереотип: страстная — иногда это даже надоедало — голосистая хохотушка, в первые минуты взрыв и пожар, пока не проберешься глубже — обычно через смех, через страсть. Великолепно готовила — это у нее от матери. Мы встретились,

когда я проводил отпуск у друзей, я там был единственный холостяк. Пришлось мне убивать время за фотографией — совершенствоваться в этой стороне профессионального искусства: фотография была предлогом, пока все мои друзья потирались друг о друга и кормили друг друга лакомствами со своей тарелки — а с ней я познакомился в первый же день, она тоже отдыхала одна, потому что твердо решила порвать с прежней жизнью. Кончилось тем, что она примкнула к нашей компании. Никакого вихря страстей: познакомились, понравились друг другу, влюбились, поженились. Простые истории иногда самые лучшие, они не требуют объяснений, просто так получилось, и ты принимаешь все как Истину, как судьбу. Если снимать об этом фильм, ее роль надо отдать классической актрисе, красивой, но не слишком, темнокожей, таинственной и любящей. Но фильм будет обо мне здесь и сейчас — как я выжил так долго в одиночку, запертый наедине с собой. Так далеко никто еще не бывал, и людям захочется об этом узнать. В очередь выстроятся, чтобы на нас посмотреть. Думаю, им будет все равно, кто сыграет Елену.

Я просмотрел все видео с Эмми и перешел к видео с Квинном. Мы — остальная команда —

гадали, есть между ними что-то или нет. Могло быть: они оба так хорошо смотрелись, как модели. У меня запас энергии еще на много часов — по моим расчетам.

Снова все запустил, нажав кнопку — жаль, но иначе нельзя было, — воздух стал разреженным, голова сильнее разболелась. Я больше не жалуюсь — мигрени просто есть, просто ничего не поделаешь. Я не спросил Эмми, можно ли мне за них принимать таблетки, а потом она умерла. Тут целый шкаф с лекарствами, если понадобится: уж от аспирина мне точно вреда не будет. В этом шкафчике есть все, таблетки на все случаи, аптека в миниатюре. Команду она не спасла. Я нажал кнопку, и двигатели снова гудят, мы разгоняемся как паровоз. Здесь, где мы теперь, понятия скорости не существует. Не выглянешь в окно посмотреть, как проносятся мимо звезды. Нет ни ориентиров, ни точки отсчета, только космическая темнота.

3

Ночью сон был тяжелый, и просыпаюсь я совсем разбитым. Кажется, режим сна пошел к черту, и сплю я не по ночам — что бы ни называть ночью. Не-день. Я на самом деле и не знаю, ночь ли это была. Часы говорят одно, чувства — другое. Часы установлены на земное время, чтобы нас акклиматизировать и помочь, когда установим контакт. Здесь, наверху, все иначе. Двенадцать часов тянутся как целая жизнь. Будит меня опять попискивание, 250480 и красный огонечек, и только через несколько секунд (пока снова забивал в компьютер это число в надежде, что вдруг сработает, поймет, что я спрашиваю, ждал и зевал) я заметил уровень горючего. 25 % — целых два ушло с тех пор, как я ложился. Я снова сажусь к экрану, вывожу подробную аналитику. Быть такого не может. На каждый процент горючего выдается собственный процент, свой обратный отсчет, и он так быстро тикает, что показатель процентов сменяется каждые две минуты. Что-то сломалось — или доломалось, стало хуже, чем было. Как будто мы расходуем горючее с ускорением. Не понимаю, в чем дело, и мучаюсь от

своей бестолковости.

Эмми в одном видео рассказала про худший момент за время работы — когда у пациентки началось внутреннее кровотечение, она пыталась спасти, а кровь отказывалась сворачиваться, когда уже было сделано все возможное, когда рана была закрыта, а проблема решена.

«Врач, бессильный сделать свое дело…» — начала она и сбилась. Я тащусь к Пузырю и пытаюсь, насколько возможно, осмотреть корабль, но снаружи не видно никаких причин для такого. И компьютер не помогает, только гудит, а я даже не знаю, есть ли тут связь. Чутье подсказывает, что это что-то снаружи. Инженер бы разобрался, и пилот тоже. Наверное, даже Эмми бы поняла. Я подтягиваюсь обратно в большую каюту и снова нажимаю полный стоп. Сообщение: жизнеобеспечение при отключенных двигателях на два часа.

За сорок минут я вылезаю из одежды и влезаю в наружный скафандр, тщательно проверяю герметичность (после случая с Вандой и потому, что помочь мне некому). В них невероятно тепло — какая-то химическая реакция обогревает вас в космосе. Я пару раз проходил такие испытания на микрогравитацию, еще на Земле, в ангарах, которые построили для нашего обучения; и было два

настоящих выхода (если считать тот, когда погибал Квинн, а я беспомощно болтался снаружи).

«Не забудьте предупредить экипаж перед одеванием, убедитесь, что кто-то все время вас страхует, готов при необходимости затянуть обратно». Это главное правило по использованию скафандра. Нас учили работать вне корабля — вдруг понадобится. «Не понадобится, — говорили они. — Корабль вполне способен сам о себе позаботиться. Но если расшатается лист обшивки или еще что в этом роде, вам, возможно, придется помогать пилотам в ремонте». Я бы сейчас все отдал, чтобы быть на подхвате. Проплыв в корму корабля, я влезаю в выходной шлюз — там люк на одного человека, вроде вращающейся двери с герметичными швами, и дверь эта отходит, если нажать кнопку. Распахивается прямо в пустоту. На моем скафандре на всех стыках свободно закреплены магниты, они помогут остаться на орбите корабля — ученые восторгались, как трудно было бы потеряться, уплыть в космос. Я цепляюсь за корабль, как детеныш обезьяны в этих фильмах о живой природе, и ползу на всех четырех. Сам не знаю, чего ищу, может, пробоину или открытый колпачок топливного бака. Все будет очень просто, уговариваю я себя, увидишь,

починишь, и все дела. Все, что скрыто обшивкой, все изломанные и побитые внутренности корабля наверняка в порядке. Я ползу вокруг корабля, понятия не имею, где здесь верх, и, прилипнув к изгибу цилиндра, со всех сторон оглядываю обшивку — нет ли на безупречно чистом корпусе царапин и ссадин. Ничего такого. Я возвращаюсь в корабль и снова переодеваюсь, и до срока отказа жизнеобеспечения остается десять минут. Я снова запускаю корабль и смотрю на показатели. Наверняка врут.

Человек всегда и всюду, оставшись один, чувствует на себе взгляд. Я сижу за столом, делаю записи для Земли — они прослушают, когда до нас доберутся, — и, стуча по клавишам, чувствую на себе взгляд. Где бы ты ни был, как бы ни был одинок, в мертвом космосе, посреди пустоты, ты всегда чувствуешь, что за тобой следят.

22 %. Наверняка неполадка где-то в механике. Сначала я надеялся, что это шалит компьютер. Нет, снова установилась закономерность, но непостоянная — на каждую смену цифр уходит меньше времени. Значит, мне осталось самое большее три или четыре дня. Несколько дней в полете, или в движении, или как там это назвать, а потом, если даже пьезоэлектрические батареи

полностью зарядятся, еще день-другой дрейфовать в ожидании, когда кончится воздух или меня спасут — смотря что будет раньше. Меньше недели жизни осталось. Люди многое успевают за неделю: вылечить болезнь, написать песню, сделать ребенка.

Мы с Еленой говорили о детях. Раз за разом возвращались к этой теме, ходили по кругу, передавали друг другу отговорки, как эстафетную палочку. Пару лет назад попробовали, но случился выкидыш. Самое худшее в жизни настигает, когда ты всего счастливее — жесточайшая ухмылка иронии. Мы были счастливы, ехали в такси, отмечать полученную мной премию — чествовать меня!– и тут у нее начались схватки. На обед была спаржа и форель на пару — сочная, сытная, вкусная, — а потом мы собрались на прием — как настоящие знаменитости, с приглашениями, — и тут она ухватилась за подголовник переднего сиденья, чуть не вывернула его.

«Ты в порядке?» — спросил я, потому что у нее никогда не бывало ни несварения, ни изжоги. (Я, бывало, говорил, что у нее луженый желудок. Она тыкала себя пальцем в обычный, мягкий живот, и я пояснял, что имею в виду — изнутри, а она обижалась.)

«Все хорошо, — сказала она. — Объелась, должно быть».

Она это так убедительно сказала, что я не беспокоился, пока она выравнивала дыхание, как ее учили на курсах для будущих рожениц. Я не заметил, как она опустила руки, чтобы перехватить схватку, вырвать ее из себя, — понял, что дело плохо, только когда она подняла руку, всю в крови, и платье спереди промокло, и еще не согревшаяся кожаная обивка сиденья — машина была дорогая, с собственной бизнес-картой, но мы решили, что по такому случаю можно, — запачкалась красным, а она заплакала. Я сказал шоферу остановиться, и она прямо там потеряла ребенка — на обочине Аксбридж-роуд, между пабом и зданием полиции. Я снял с себя джемпер, и она им промокала кровь, а потом мы его выкинули в мусор по дороге к больнице — дорогой джемпер, вот так. Не знаю даже, можно ли назвать то, что там было, ребенком. Не знаю, как принято. Мы даже не знали наверняка, что она беременна, — мы пробовали только пару месяцев, а задержка была всего на месяц. Мне сказали, так бывает, на таком малом сроке лучше не надеяться.

«Я говорил, что не надо надеяться», — заметил я в разговоре и до сих пор не знаю, утешал или

упрекал. Потом мы целый год об этом не заговаривали, а потом решили попробовать, но в будущем месяце. То счета, то работы много, то время для родов выходит неподходящее — мы все откладывали на месяц, а на словах заверяли, что ничего плохого не случится. А потом появилась экспедиция, или надежда на экспедицию.

Вот еще кое-что о Елене: она была темпераментной, но никогда не орала; она однажды запустила в меня чашкой через всю кухню и попала точно в лоб, так что остался вот этот шрам, и я немилосердно дразнил ее, что при такой меткости ей место в команде «Лондонских метеоров», с ней бы они хоть иногда выигрывали, и потом она только однажды чем-то в меня запустила, только на этот раз — книгой; и она упрашивала меня не лететь, говорила, что мы слишком долго будем друг без друга. Она была права. Уже слишком долго. Мне осталось бесплодное пространство и много-много пустоты.

19 %, а спать не хочется. Кажется, я уже много-много часов не спал, и веки тяжелеют, иногда закрываются, но я не хочу засыпать. Хочу видеть, как мигают циферки, — на всякий случай. Смотрю, что за бортом. Там нет солнца, которое могло бы меня разбудить. Я снова включил весь

свет: смотреть не на что, но яркий свет мешает отключиться. Головная боль на месте — как сосед, зашедший за стаканом сахара, задержавшийся выпить и застрявший на целую вечность. Здесь есть библиотека: книги, фильмы, музыка — все на компьютере и все мне нисколько не интересно: я в космосе, и я медленно умираю.

17 %, и тут меня осеняет. А вдруг это сообщение — числа, гудки, огонек — от инопланетян? Вдруг за мной наблюдают, окликают меня, а наша система принимает это за ошибку в операционке? Мы же не знаем, что тут есть. Мы здесь побывали на видео, а лично ни разу; вдруг они ждут нас здесь, вдалеке?

«Поздравляем, — скажут они. — Вы — первый добравшийся до нас вид. Вот вам наши секреты».

Следующие несколько часов я слежу за темнотой в Пузыре — и ничего. Ни корабля, ни инопланетян, ни звезд. Пусто.

15 %. Еще день. Солнце не встает. На завтрак съедаю белковый батончик со вкусом кофе — вообще-то, это кофейное мороженое, но больше похоже на десерт, а мне даже наедине с собой хочется вести себя как принято в обществе, вот я и говорю себе, что это просто кофе, — и запускаю очистительную установку, чтобы получить

немного свежей воды. Несколько дней пил застоявшуюся. Пора бы начать жить по-королевски. Запасов провизии у меня на целую армию, даже на особые случаи. Мы собирались отпраздновать, когда пройдем полпути, когда корабль развернется назад. Мы собирались праздновать и снимать праздник, а потом это показали бы в новостях. Для этого праздника припасли пару бутылок шампанского — на пройденные полпути. Это они хорошо придумали. Хороший вышел бы праздник, я думаю. Я решил пить вино и есть батончики с ростбифом — лучшие из пайков, спонсор — какой-то знаменитый шеф-повар, — на сколько их хватит, а потом двигаться вниз по списку. Жареная курица и пицца пепперони пусть себе лежат в коробке вместе со своим вкусом лежалых чипсов. Мне теперь незачем сидеть на пайке. Шампанское шипит и пенится — здесь пузырьки всегда крупнее. Будь со мной кто-нибудь, я бы спросил, правда ли они больше из-за силы тяжести, или из-за скорости, или еще из-за чего-то, и правда ли шампанское здесь меняется. Так и чувствую, как сохнет от спиртного моя головная боль. Я подплываю к Пузырю, смотрю и чувствую, как во мне что-то вздымается, как волна. Как музыка — слышишь, как оркестр на-

страивает инструменты, расставляет пюпитры, продувает духовые, проверяет настройку. Я прихлебываю из горлышка и стараюсь держаться совсем неподвижно, придерживаюсь ладонями за бока, чтобы не сдвинуться, чтобы резче стали далекие звезды и заметнее, как мы двигаемся. Торчу там и пью.

О боже, было так плохо, что я вырубился, кажется, на целый день. А может, всего несколько часов выпорхнули между сознанием и беспамятством, и мне виделось всякое: я сам, каким бы мог быть, на ногах, при деле, а не пристегнутым к койке и едва сдерживающим рвоту. Хуже нет, стошнить в невесомости. Я даже не помню, как ложился. Побывал на краю смерти и даже без истерики обошелся.

Проснувшись, я смотрю на счетчики. Это как с будильником: лежишь, спишь себе спокойно и вдруг как будто что-то услышишь, и встрепенешься, и садишься на кровати. Не проспал ли будильник? Взгляд сразу проясняется, никакой сонной мути, и видит циферки на экранчике рядом, и они показывают как раз то, что тебе хотелось, ты проснулся точно вовремя. Ты не проспал, и будильник как раз готов зазвонить, или включить радио, или приступить к варке

утреннего кофе. Я не проспал. Я еще жив, часики еще тикают, до конца пути еще много миль и процентов. 11 %.

Если меня готовили как надо, я просплю собственную смерть. Если продержусь до полного исчерпания горючего и израсходую весь резерв в батареях, вырублюсь, когда станет отказывать жизнеобеспечение, когда истощится кислород. Мой выдох будет гуще вдоха, и я почувствую усталость, стану клевать носом. Сама смерть, точный момент ухода — теперь неизбежный, как само дыхание, — наступит, пока я буду смотреть сон, и я ничего не замечу. Хорошая смерть; моя мать всегда говорила, что хотела бы такую.

«Хочу, чтобы это случилось во сне», — говаривала она, а отец вспоминал какую-то записку какого-то покончившего с собой рок-певца времен своей молодости.

«Лучше гореть, чем гнить, — говорил он. — Мне бы хотелось выгореть дотла».

«Тебе, считай, повезет, если ты хотя бы загоришься, — отвечала ему мать, — а если вздумаешь себя поджечь, я сама тебя убью».

Я по ним скучаю. Не так, как по Елене. Мать умерла давно, я успел отплакать свое, а отец… Я его оплакал, а он, может быть, еще жив. Там

не было надежды на примирение. Он мог бы объявиться, чтобы дать интервью — рассказать, каким я был на самом деле: поддерживал его врага, которого он столько лет бил и уничтожал морально, — а потом бы снова исчез. Все равно я по нему скучаю: так или иначе, он мой отец. А вот Елена — это всё. Она для меня была всем, целым, абсолютом. На свадьбе мы клялись любить, почитать и повиноваться, и последние два обета я нарушил, доля нарушенных больше исполненных, ведь были у меня планы, мечты, надежды, где я не принимал ее в расчет. Она не хотела меня отпускать, так и не поверила, что я правда решился. Я много чего говорил: что вот соберусь в Африку, сделаю репортаж о беженцах, что взойду на вершину и опишу восхождение, что однажды отправлюсь в космос, или в глубины океана, или в неизведанные дебри джунглей, где сохранились еще нетронутые цивилизации, развивающиеся в согласии с природой, свободные от техники и на вертолет глазеющие как на картину, не понимая, что это за штуковины в небе. Я все это говорил, а она обнимала меня ладонями за голову, и гладила по лбу, и слушала, о чем я мечтаю, но никогда не верила, что я на самом деле соберусь, потому что такие вещи мало кому даются. Сама она мечтала

о повышении, о семье, о реальности. Я сам себе не верил, пока не увидел объявления о поиске людей для космической экспедиции. И, даже заполняя анкету, сомневался в каждом вопросе и гадал, не стоит ли саботировать затею. Тогда так легко было бы придумать шум в сердце и оставить мечты мечтами.

«Я бы хотел, но врачи запретили», — мог сказать я и говорил бы, когда они бы на самом деле улетели. «Я готов был взяться за эту работу, но здоровье не позволило», — говорил бы я и, повторяя это раз за разом, мог бы и сам поверить.

Голова болит — сочетание старого доброго давления и ночной попойки. Я точно видел эту старую шутку в комедиях, на карикатурах, — там поэтапно описывалось, что положено чувствовать в таких случаях. Должно быть, и я прохожу эти этапы. Ищу их в энциклопедии на компьютере. Первая стадия: отрицание и изоляция. Ха-ха! Отрицать не приходится, а от изоляции никуда не денешься. Я бы и рад, да некуда. Вторая стадия: гнев. Не на что тут сердиться. Третья стадия: торговля. Прошу тебя, Господи, если ты есть, спаси меня. Разверни меня, разверни корабль. Тебе только пальцами щелкнуть — я уже на Земле или хоть на Луне. Я все приму. Четвертая стадия:

депрессия.

Она часто сопровождается приемом веществ, помогающих заглушить боль: алкоголя или наркотиков. Пятая стадия: принятие. Я умру.

Я берусь просматривать видео с Арленом. С трудом его узнаю. Столько дней прошло, а кажется, еще больше, с тех пор, как я с ним общался, а на видео он не очень похож на себя, он там работает, проводит диагностику еще до старта с Земли. Одна работа, никаких шуток. Я смеюсь при виде его бороды. Мы, экипаж, большей частью были недурны собой. Похоже, это входило в число требований: набрать сравнительно харизматичный экипаж, чтобы хорошо смотрелся на экране и люди сопереживали проекту. В кадр из-за плеча Арлена входит Гай, они пожимают друг другу руки. Гай обеими руками сжимает ладонь Арлена и трясет, трясет.

«А до меня ты когда доберешься? — спрашивает он, а я отвечаю, что только в космосе. Он улыбается, будто только сейчас вспомнил, куда мы собрались. — Ах да, черт, надеюсь, ты сумеешь меня найти, чтоб тебя!»

«В сущности, они хорошие ребята, — отвечает Арлен на вопрос, как ему экипаж. — Это к лучшему: с хорошей командой все пойдет намного

быстрее. — На этом месте я морщусь. Нет тут ничего, отчего бы это прошло быстрее. — Но вы все, и ты тоже, все выглядите хорошими людьми».

«Чем ты сейчас занят?» — спрашиваю я его на видео.

«Ну, вот сейчас я испытываю двигатели, проверяю, как они работают».

Он щелкает выключателем, загорается зеленый огонек.

«А что бы ты сказал тем, кто утверждает, что ты не пилот, потому что пилотирует за тебя компьютер?»

«Я бы сказал таким: а вы давайте сюда, почините этот компьютер, когда он зашалит, или наладьте после перезагрузки. Наш „Исигуро“, скажу я тебе, недешево обходится». Он улыбается — видео, щелкнув, становится на паузу. Здесь нет ручного управления, а наладить компьютер я не умею. Я подтягиваюсь к задней стенке, вскрываю новую бутылку шампанского и пью. Пятая стадия: принятие.

«Исигуро» — с именем тянули до последнего, не могли выбрать, не сообщали. Было совещание по выбору названия — УПИ Минобороны решило отойти от собственных традиций.

«Хватит с нас грандиозного, — говорили они, —

и „Вояджерами“ люди уже сыты по горло». Они прогнали на компьютере сетевые предложения — выше всех по оценке и приятнее других оказалась «Судьба». Они прогуливались, пробуя имя на вкус. «Загрузка Судьбы». «Судьба готова к старту». Мы дали подписку, что не знали об этом названии, его держали в секрете до громкого заявления в прессе. В тот же день, как сообщили, нам показали название, которое собирались намалевать прямо на корпусе. И прочли на наших лицах все, что требовалось. (Гай потом шутил: «Мы, мать-перемать, астронавты, а не жокеи на маленьком пони!».) На следующий день состоялось совещание без нашего участия, а потом нас снова вызвали для нового объявления.

«Мы надумали назвать его „Исигуро“», — сказали нам. Хиденори Исигуро начинал разработку корабельных двигателей — тех, что сделали возможным этот полет, — пока ученые, и Гай в их числе, не выдернули проект у него из рук, чтобы перевести на глобальное финансирование — в реальный масштаб. Он был загадочной, блестящей личностью, мы все его уважали.

«Подходящее название», — согласились мы все, и через неделю о нем объявили громогласно: он сам под рукоплескания зрителей сорвал

покрывало с таблички с именем. Прессу это не впечатлило.

«Слишком скромно, — говорили они. — И бессмысленно. Где ощущение чуда, где порыв к звездам?»

«Всем не угодишь, — сказал Арлен, когда мы прочли эти статьи. — Тем более если желают фейерверков, а им подсовывают прах».

После Арлена и переключения с 11 на 10 % идет Гай. Его видео — сплошная светотень, так и мечется от счастья, когда он мне поет, смеется над какой-то шуткой, подыгрывает национальным стереотипам — у него был довольно легкий характер — и неожиданно становится серьезным.

«Мы сами на это подписались, будь что будет».

«А что будет?» — спрашиваю я.

«Ну, если мы дойдем до поворотной точки, а разворота не будет?»

Он ясновидящий, а я и забыл о том разговоре. Господи!

«На трех испытаниях беспилотной версии корабли разворачивались как положено».

«Все когда-то случается в первый раз, — говорит Гай. — И те полеты были короче».

«А ты бы смог это исправить, развернуть нас?»

«Возможно. Компьютер у нас сложный, тем-

пераментный. Я бы с ним поборолся, только не понадобится». — Он сверкает улыбкой — у него зуба не хватает, третьего или четвертого от середины, а я только теперь замечаю и ума не приложу — почему он не вырастил нового. Оставил эту щербину, от которой так просто избавиться — всего один укол.

«А почему не предусмотрено ручное управление на случай неполадок, Гай?»

«Каких? Неполадок не будет. Компьютер — само совершенство, он нас от любых бед спасет. Мы — всего лишь люди, понимаешь? Видишь ли, мы нажимаем кнопки, играем с джойстиками, и все летит к черту. Компьютер держит курс, мы держимся компьютера и возвращаемся домой. Так просто».

В фильме я собирался остановить этот кадр, задержать его на экране. То самое «последнее слово». Я подумываю с этого и начать фильм: небольшая вводная часть, это интервью, а потом стоп-кадр, и потом вернуться назад, где я один на корабле, остальные мертвые в своих койках, а потом еще дальше назад, где корабль в космосе, тарахтит себе по своей дороге, а счетчики горючего отщелкивают цифры, как старинные вокзальные часы. Врезка: начальные титры.

Все еще можно исправить — Гай умел, он бы справился. Он слишком рано умер. Окажись на моем месте он — последний, Последний из Могикан, — он бы вернулся домой и рассказал им, что случилось.

«Я слишком долго был один! — восклицал бы он. — Один! — И еще: — Я принимал те сообщения, в них не было смысла, потому я их игнорировал!»

Словно по волшебству — новый гудок, и вспыхивает красный огонек. 250480. Сообщение не меняется, говорит мне, мол, что-то не так, но что — не говорит. Ума не приложу. Я переписываю его снова и снова, каждый раз, как делаю запись в своем блоге (я его веду и теперь, в одиночестве, не имея понятия, попадет ли он домой). Я подумывал писать на стенах, на их крахмальной белизне, чтобы, если найдут, подумали, будто я сошел с ума в космосе, но решил, что в этой шутке нет смысла. Это не предупреждение о неполадке в системе, не отказ и, насколько могу судить, не сообщение. ИИ в нашем компьютере так и не дотянул до разумности. И я не верю, что это пытаются достучаться до меня инопланетяне — там, снаружи, ничего нет, уж это становится ясно, когда летишь сквозь неподвижную тьму, — так

что это просто гудки. Может, они сообщают, что с горючим проблема. Или вообще ничего. Огонек гаснет, гудки смолкают, а компьютер показывает 9 % и снова замирает.

4

Я каждый день вношу в блог на компьютере записи и отсылаю их, сообщаю центру управления, что происходит, чтобы не возникло недоразумений. Хочу, чтобы там знали, что я здесь теперь один — или на самом деле мы с Эмми, — чтобы они собрались нас спасти — два тела, а не одно, — и рассказываю им о предупреждении, о числах, потому что вдруг они найдут способ мне ответить. Они, пожалуй, могли бы. Или: они столько раз нам говорили, что двигаться можно и быстрее, только не так долго. Может, они с этим справились. Может, за последние недели случился прорыв, и сейчас к нам с ревом несется корабль, он встанет с нами борт к борту и откроет люки, я выплыву в них и спасусь. Я и это записываю в блог, и все остальное, даже сны и что вижу снаружи, чтобы подсказать им, где нахожусь. Я пишу им, и кликаю «отправить», и больше не перечитываю, потому что мне не выдержать этой мысли. Одно дело — смотреть видео с другими, на секунду видеть их глазами. А своими глазами я бы этого полета не вынес, не думаю.

Мне недостает силы тяжести. Столько дней в

пустоте, столько дней плавания в корабле, плавающем в пространстве, как матрешка в матрешке, и вот я решил, что хочу снова ощутить пол под ногами. Нам с самого старта не полагалось включать гравитационное поле: я знаю только, что пьезоэлектричество оно выжигает, как ничто другое.

«Немыслимый расход энергии на его поддержание». Не помню, кто из команды мне это сказал. Я щелкаю тумблером, и вот стены начинают гудеть, и все вибрирует, чуть заметно трясется, как стиральная машина, и я подтягиваюсь в сидячее положение, чтобы не сбило на пол, когда включится, и слышу звук, словно сломался сучок. Что-то сломалось у меня в бедре. Немыслимая боль. Она впивается в бок, и я валюсь на пол, вторая нога подгибается под моим весом, выворачивается за спину. Укол в этой ноге можно и не заметить — другая уже кровоточит, залила кровью верх штанины, стекает под меня лужицей. И среди всего этого снова звучат гудки, а я валяюсь на полу и экрана не вижу. Прежде всего нога. В аптечном шкафу есть бинты. Я их видел, и болеутоляющие, и, возможно, что-то еще, что тоже понадобится. Я пытаюсь закатать штанину, но что-то мешает, что-то твердое и острое торчит

наружу, и мне думается: это, должно быть, кость. Ножницы. Надо разрезать штанину. Я подтягиваюсь по полу к столу, на ногу стараюсь не смотреть и стараюсь ее не волочить — и тем более ни за что не зацепиться, осколок кости торчит наружу, как жало крючка из рыбьей губы, — и втаскиваю себя на кресло. Шкаф над этим столом, мне удается его открыть, подтянувшись всего на высоту сиденья. Теперь ножницы, руки дрожат, не справляются с тканью, рвут, порют как могут, и мне наконец видна рана. Розовое — это кровь, желтая — моя кожа, все вместе как коралл. И на вид пористое, как коралл — в мелких дырочках, а из них выплывают пузырьки. Это моя кожа, сдвинутая наружу и вверх, и сквозь кожу на дюйм торчит сучок — чистый и деликатный, как моя операция над штаниной.

В аптечке большой выбор бинтов: эластичных, клейких пластырей; и самоочищающийся шприц-дозатор с дозами анальгетика, и еще один с чем-то анестезирующим, и еще с антисептиком. Еще должно быть полно пузырьков с болеутоляющими, но поднос почти пуст, грустят пустые ячейки, осталась одна бутылочка. Я гадаю, кто из команды их извел: нас предупреждали, что от них может развиться привыкание, что головные

боли и тошнота пройдут сами, а болеутоляющие только на крайний случай. Есть и металлическая шина. Я достаю шприцы, и шину, и бинты и тащусь обратно к скамейке, за бедро подтягиваю ногу, распластываю — насколько мне это удается, на скамье. Компьютер все гудит. Пошел он на хер.

Я основанием ладони прижимаю колено, чтобы приостановить кровь, и обматываю его бинтом, вытаскивая из-под витков руку. Кровь уже темнеет, начинает сворачиваться. Не знаю, труднее ли крови в космосе делать свое дело? А кости здесь так же срастаются? Строго говоря, это поверхностное ранение. Два шприца антисептика, два анестезирующего и анальгетик, когда понадобится. Я очищаю кожу вокруг разрыва, стираю кровь, потом одну руку кладу себе на икру, другую на головку кости — основанием ладони. Собираюсь с духом, отсчитываю до трех, делаю вдох и давлю. Кость — как видно, здоровое бедро — сдвигается, отходит вниз, и я едва ли не с удовольствием слышу щелчок, когда она становится на место — так щелкает, закрываясь, автомобильная дверца. Ничего такого я не чувствую. Ввожу себе еще антисептика, протираю рану, перевязываю, потом накладываю шину на всю ногу спереди и загибаю

захваты вокруг икры. Она напрягается, так что я ощущаю давление на кость, и тут начинает возвращаться боль — и одновременно шина решает, что обеспечила подходящий уровень давления на мышцы, и с шипением закрепляется. Боль на максимуме, и я ввожу себе анальгетик, вкалываю в шею. От боли, или от анальгетика, или еще от чего я теряю сознание.

Мне снится космос — во всяком случае, я думаю, что это сон, — или просто ничто.

Меня будят все те же гудки. Нога раздулась, но боль чуть ослабела. Я ввожу в припухлую кожу рядом с повязкой еще анестезирующего, позволяю себе куда меньшую, чем вчера, дозу анальгетика и подтягиваюсь к краю скамьи. До панели управления отсюда метров пять, может, чуть больше. При невесомости на два толчка. А сейчас? Я спускаю на пол здоровую ногу. Она протестует, но совсем чуть-чуть — ее я, думается, только слегка подвернул, это не смертельно. (Ха, мне ли беспокоиться о смерти! Здесь!) Затем я поднимаю себя на ноги, а потом хватаюсь за переборку и ползу по ней, хватаюсь за внутреннюю стену, и подтягиваюсь к креслам в кабинном отделении, и усаживаюсь в пилотское кресло. До сих пор я его обходил. Не знаю почему, я всегда

занимаю место Квинна.

Компьютер говорит мне: ТРЕВОГА и что заряд батарей упал до 10 %. Должно быть, из-за гравитационного поля. Не думал, что оно берет столько энергии. Я умудрился лишить себя недели жизни, и все, чтобы поломать себе ногу. Пошло оно. Я снова включаю двигатели. И всплываю в воздух, пока проценты заряда батарей скрываются в уголке, где горит значок перезарядки, а на середину экрана снова выдвигаются 9 %. 9 % горючего, и жизнеобеспечение падает, приближаясь к тем же девяти. Вся моя жизнь в одном знаке.

Я сплю, но как засыпал, не помню. Помню, как ложился в койку, как ремни слегка давили мне на бока, а нога свисала. При отсутствии силы тяжести так чудесно — нога свободно парит, сама тянется за мной, как хвост за котом. Помню, я удивлялся, почему не могу заснуть, злился на шум двигателей и свет от мониторов, помню, думал о Елене, а потом компьютер прогудел 8 %, и я решил проснуться. Даже усталости я больше не чувствую.

Включаю видео с Вандой, она на нем протирает переднюю консоль.

«Это самая интересная работа, — говорит она. — Здесь-то все и происходит». Она выглядит

грустной, словно ей здесь не нравится.

«С протиркой этой штуки нужна осторожность?» — спрашиваю видео-я. Она качает головой и таинственно склоняется к камере.

«Нет, — говорит она. — Все это только для виду, один дым и зеркала».

Когда компьютер выщелкивает мне метку 7%, я сижу у резервного терминала, читая о системе двигателей. Схема показывает последовательность входа в компьютер и пароли для разгона двигателей, для вывода их на максимальную мощность. По-видимому, мы используем почти всю мощность корабля. Пьезоэлектрические батареи почти не зарядились, явно не настолько, чтобы уже стоило их использовать. Я не хочу ждать, больше не хочу. Я с этим покончу. Это система самоуничтожения — такие показывали в самых лучших старых фильмах, — их устанавливают, чтобы американские технологии не попали в руки врага. Не знаю, зачем она здесь, вижу только, что есть. Называется как-то иначе: помечена как «Помощь при крушении», на случай если мы слишком быстро приблизимся к Земле и придется бросить корабль, чтобы стазис-капсулы плыли к Земле сами по себе, на своих встроенных парашютах. Корпус при этом

рассыпается на части, как лего, оставляя все остальное падать как придется. Все разлетается. Выглядит подходяще. Команда разгоняет двигатели — всего на несколько секунд — за пределы естественной мощности, чтобы их закоротить, а потом корабль раскрывается, и вот вам люди. Энергии, если верить компьютеру, на это как раз хватит. Только-только.

В руководстве сказано, что в экстремальной ситуации мне следует сбросить весь лишний груз. Я, надежно изолировав главный корпус от кормы, открываю наружный кормовой люк, и запасы продовольствия, наружные скафандры, кислородные баллоны вытягивает наружу. Гораздо быстрее, чем мне представлялось, я и моргнуть не успел. Закрыв люк, я читаю следующий пункт. Прежде всего удостовериться, что остальная команда надежно защищена стазисом. (Ха! Эмми глядит на меня сквозь стекло, целая и невредимая, надежно укутанная.) Далее — приготовить стазис-койку для себя и ввести следующие инструкции.

Я набираю на компьютере сложный ряд чисел. Удостовериться, что все закреплено — люки, двери, стазис-койки, — и нажать клавишу «Ввод». Внимание! С нажатием клавиши начнется отсчет,

а с его окончанием двигатели выйдут на Максимальную Мощность. Отсчет продлится тридцать секунд. Я напоследок осматриваю корабль. Для меня здесь ничего нет. Я снова подтягиваюсь в кресло Арлена, глазею на видовой экран. Так все мирно — сколько видит глаз, одна чернота. Я пристегиваюсь и откидываюсь в кресле, чтобы снова включить поле тяготения. Раз уж взялся, я хочу это прочувствовать: не плавать в безвоздушном пространстве. Мне хочется перегрузки. Хочу узнать, как она ощущается. Хочу увидеть и не хочу оставлять резерв батарей, чтобы валяться с переломанными костями и оторваными конечностями — лежать, ожидая смерти, пока не задохнусь без воздуха. Кажется, я проговорил все это вслух, в пустоту. Я думаю.

Сила тяжести наваливается разом, боль от навалившегося веса пробирается в сломанную ногу. Я нажимаю «Ввод», запускаю отсчет. 30, 29, 28. Вся моя жизнь в последние недели подчинялась числам. 27, 26. Я много лет о них не вспоминал, жил словами. 25, 24, 23. А они вдруг оказались важней всего на свете. Отсчет, проценты, сроки — все важно. 20, 19. И сообщение, число на экране. 18, 17, 16. Я умру, так и не узнав, что оно значит. 15, 14. Оно останется для меня неуловимым мак-

гаффином[2]. 13, 12, 11. И погаснет вместе со всем остальным, 10, а я пойду дальше, если есть куда идти, 9, и никто не узнает, что я не узнал, что это было, 8, просто очередной трофей и, 7, памятный сувенир на чьей-то, 6, полке, и я надеюсь, она, 5, будет по мне скучать, как мне, 4, хотелось бы. Боже, Елена, 3, мне без тебя, 2, так плохо, 1, до боли.

Не могу шевельнуться. Почти ничего не вижу. Как под водой, и я ловлю воздух ртом, но чувствую, как он выворачивается, уходит, не дается мне. Различаю очертания цифр на экране, но это неважно, уже неважно. Всё. Я уставился в окно перед собой, на расходящиеся по пластику трещины (кто-то во мне хотел бы знать, почему они его не испытали) и в космос — вдалеке вдруг что-то есть, чернее космоса, не понимаю, как это. Оно спокойнее всего, что мне видно, — никаких звезд, только пространство чистой, абсолютной ночи, такой черной, что выглядит плотной, будто протяни руку — нащупаешь. Я не свожу с него глаз, пока пластик перед моим носом ломается, как моя нога, и окно вываливается почти целиком. Все звуки глохнут, я чувствую, как натягиваются

[2] Примечания: 2

Макгаффин (англ. MacGuffin)– термин, обозначающий предмет, поиски которого служат завязкой для сюжета, но сам по себе он не важен.– *Прим. ред.*

крепления, прижимающие меня к креслу, как они дергаются. Когда мы оказываемся в черноте пространства, я освобождаюсь и вдруг слышу эту черноту, она здесь, в вакууме, каким-то образом обрела голос, ревет гнусавым задыхающимся ревом, как вихрь, как смерч, но меня выкручивает из корабля и из себя, и здесь, снаружи, в неизведанных людьми глубинах космоса, чудится, что кто-то меня подхватывает, говорит, что все будет хорошо, а я втягиваю последний глоток воздуха, последнего оставшегося в корабле воздуха, и глотаю его, и купаюсь в нем, понимая, что это предсмертный глоток, и жалею об этом, потому что вдруг я поторопился сдаться и Елена не будет мной гордиться, раз я вот так сдался, она ведь всегда называла меня сильным, и я вижу черноту хуже космоса, хуже всего, совершенно черную, и она глотает меня целиком.

Часть вторая

Мы живем, как видим сны, – в одиночестве.

Джозеф Конрад. Сердце тьмы

1

Голос Елены — тихий, настойчивый. Она просит меня проснуться, и я просыпаюсь. Льну к ней, говорю, что я это уже слышал. Она смеется.

«Кормак, — говорит она. — Спасайся. Проснись».

Я открываю глаза и секунду вижу ту же черноту, такую темную, что думать не получается, и чувствую ее в глазах, во всем теле, а потом слышу рев корабельных двигателей, но за ними тот же звук вроде эха, как будто микрофон искажает твой голос до тембра какого-то экранного злодея. Потом звук обрывается, зато такой холод, что я почти ничего не вижу, и тут до меня доходит: температура, звук. Корабль развалился — или я думал, что развалился. Я пытаюсь встать на ноги и тут же понимаю, что я вовсе не на полу, силы тяжести по-прежнему нет. Таковы правила космического полета. Я почти ничего не вижу, потому что от холода глазам больно, и ничего не слышу, даже себя, когда пытаюсь кричать, за шумом двигателей — должно быть, это все еще двигатели, хотя им положено исчезнуть, развалиться, их должна была засосать пустота, а они

воют, уничтожая воздух, наполняя его собой, и только собой, как шумом помех. Я шарю вокруг себя, ощупываю все, на что натыкаюсь, пытаюсь разобраться, где я есть. Леденящий холод, воздух, который я глотаю, обжигает легкие. Я вернулся в «Исигуро» или не покидал его. Так или иначе, это мой корабль. Я нащупываю круглую дверь-ширму одной из коек, нашариваю ручку и дергаю. Они все мертвые, а я нет, но буду, если не попаду внутрь. Мне вдруг, вот сейчас, захотелось спастись. Я гадаю, сколько из пережитого — видений, полета в темноте, взрыва корабля, — что из этого действительно произошло. Правда ли я пытался покончить с собой? Или мне все это померещилось? Дверь, открываясь, шипит, и я вдруг отчетливо вижу его лицо — Арлена. Его уже мертвое тело стоит куда меньше моей жизни, хотя до моей койки считаные футы, но я чувствую тягу корабельной атмосферы, грозящую порвать меня на части.

Я отстегиваю его, сталкиваю к краю и забираюсь на его место. Я помню, как спал в такой штуке первый раз. Смутно, отдаленно, но помню. Такие важные вещи не забываются. До засыпания тридцать секунд, тридцать секунд определенности, а потом ничего. Я смотрю в стекло капсулы и тут

вспоминаю о своей ноге, теперь зажившей, от крови остались только стертые пятна на ткани, почти выцветшие, и ей можно шевелить, сгибать — и я понимаю, что что-то — либо конец, что был до, либо это — не может быть настоящим.

Дверь койки открывается и выплевывает меня из себя. Как в первый раз, мне это знакомо — дикое ощущение, ты насквозь мокрый, хватаешь воздух, как будто почти разучился дышать. Первые секунды такие нездешние, такие сложные, и с тебя так течет, что думаешь, не утонул ли. Вода стекает с меня, и корабль затягивает ее в вентиляцию, чтобы переработать, превратить в питьевую воду, в воду для мытья. Я просыхаю в считаные секунды. Зрение еще не наладилось, так что я тру глаза, отчаянно моргаю. Я упираюсь ступней в угол, нахожу устойчивое положение. Корабль гудит, двигатели работают, разгоняют скорость, но звук совсем не тот, что я слышал прежде, когда проснулся, — он даже отвлекает, потому что снова тихий, такое привычное гудение налаженных работающих двигателей. Потом я вижу Арлена. Я и забыл. Забыл, как он выглядел, когда я открыл койку и нашел его. Он такой же: почти синий и шелушится, как старая штукатурка.

— Мне очень жаль, — говорю я ему, — мне нужна была эта койка. — Я поднимаю его — он ничего не весит, как битком набитый пылью мешок, — и укладываю на место, пристегиваю, закрепляю. Мне неприятно его трогать, но надо, и я действую осторожно. В корабле все так же темно, и это вдруг кажется непривычным. — Свет! — говорю я, и светильники загораются один за другим. Все как было. Я осматриваю кабину — помню, как ее вытягивало, как по видовому экрану расходились трещины, как он вывалился наружу. Все так чисто. Я оглядываюсь проверить, в порядке ли Эмми в ее койке — она пристегнута, будто ничего не случилось. Она спокойно, мирно смотрит вверх. Глаза у нее закрыты. Я осматриваю остальных: Арлена — синего, шелушащегося; Квинна — красивого, с острыми скулами и каменным лицом; Гая — тот чуть ли не усмехается; Ванда — Юнга, но глаза у нее больше не красные и лицо чистое — это странно. Я добираюсь до последней койки, моей. Она должна пустовать, но в ней тоже тело, как во всех, и секунду, прежде чем рассмотрел лицо, я всех пересчитываю и гадаю, не свихнулся ли, а потом смотрю по-настоящему. Это я, мое лицо. Чисто выбритое, опрятное, щеки блестят, волосы расчесаны на пробор. Он выглядит как я

несколько недель назад, в начале экспедиции. Он в моей койке и тихонько дышит: тихо вздымается грудь, щеки раздуваются. Спит, как я сплю. Точно так же.

— Дерьмо! — говорю я. Я хватаюсь ладонями за стекло, чтобы остаться на месте, чтобы сосредоточиться на лице: хочу вдохнуть, но в горле ком, и я его выкашливаю, выдавливаю. Я подтягиваюсь к себе, лицом к лицу, заглядываю за стекло. — Это шутка! — ору я. — Кто надо мной прикалывается? — но я понимаю, что это не шутка и никто не прикалывается. Я чувствую, как бунтуют внутренности, не успеваю удержаться и чувствую во рту вкус рвоты — ужасный, горький. И инстинктивно глотаю, чтобы не плавала в воздухе. Все во мне рвется открыть койку, но я этого не делаю. Не знаю почему, но нет.

Дрожу — весь трясусь, толкаюсь через всю каюту к кабинным компьютерам. Ищу на них дату, обновление от центра управления. На экране горят сообщения, дожидавшиеся нашего пробуждения: «Дорогой экипаж, — гласят они, — добро пожаловать в новый дом на предусмотренный срок» — и стоит метка времени и метка «не прочитано». Я проверяю мониторы, счетчики, циферблаты и те показания, в которых что-то

понимаю. Запас горючего 93 %, то есть от перехода всего несколько часов, как было, когда мы просыпались один за другим, выскакивали из коек в готовности стать первопроходцами, как нам было предназначено. Арлену полагалось быть первым, первым встать с кровати. Мы все вышли из стазис-капсул, а Арлен нет. Он должен был подняться на несколько часов раньше нас, подготовить корабль, включить свет и обогрев, проверить систему жизнеобеспечения. Он умер, и мы решили, что это неисправность системы. Не могли объяснить, как ни старались: диагностика показала, что все в полном порядке. И снова меня осеняет: виновата не система, а я. Я во время перехода открыл койку и вытащил его, а сам шмыгнул на его место. Я подтягиваюсь к нему и сквозь стекло разглядываю тело. Ученые предупреждали, что такое может случиться, если не войти в стазис: быстрое обезвоживание, распад плоти, невероятная потеря костной массы. Жаль, что я не закрыл ему глаза, прежде чем уложить на место, потому что они выглядят подделкой, будто из бумаги, а зрачки нарисованы тусклым черным фломастером.

Я убил Арлена. Только об этом и думаю, только это и вижу, и в полном смятении начинаю пла-

кать, и не знаю, как перестать.

У Арлена было несколько часов для пробуждения остальной команды, а теперь эти часы достались мне. Я ругаюсь в пространство перед собой, и плачу, и смотрю, как слезы отслаиваются от лица, а потом срываются, и все смотрю на Арлена, который смотрит на меня, показывая, что знает о моей вине. Это моя вина.

Надо спрятаться, думаю я. Нельзя, чтобы меня таким увидели. Корабль — чертов огромный гроб, настроен на взрыв, чтобы затянуть команду в самое горнило, и мы взорвались из-за меня, а это — все это, сам я, как в зеркале, вроде игры света, вроде хитрого фокуса — все это не так, не по-настоящему, потому что быть такого не может.

Только вот я чувствую, что все по-настоящему. Я задыхаюсь и чувствую под собой пол, и он на ощупь настоящий, и все так, как было. Не понимаю как, но я вернулся на «Исигуро», к началу экспедиции, и я не тот, кем был.

Я в панике, потому что ничего не понимаю, как я мог здесь оказаться, и я подтягиваюсь через весь корабль, включая по дороге свет, к машинному отделению, к шлюзу и раздевалке. Здесь, в корме, есть помещения, где нам почти нечего было делать, там не было ничего нужного. Две комнаты

в корме, в основании корабля — одна исключительно для топливных ячеек и панелей доступа к двигателю и одна только для аккумуляторов — их периодически проверяли Гай или Ванда, а остальные к ним не прикасались; нас этому не учили, да и желания не было. В одной кладовой хранилась большая часть продовольствия, и ее очень даже часто использовали, а в другой было оборудование для выхода, аварийные инструменты и все такое. Вот она; не помню, чтобы я здесь бывал, мне редко что-то отсюда требовалось. Если хочешь спрятаться, здесь самое место. Когда по нему плывешь, корабль огромен, как пещера, куда больше, чем нужно на шестерых: столько пространства заполнено только топливными ячейками, огромными аккумуляторами и ящиками с припасами. Они прикреплены к решетчатому полу зажимами и карабинами, чтобы не сдвинулись в невесомости. Я отпускаю зажимы — совсем чуть-чуть, чтобы под ящиком появился просвет в фут глубиной, и втискиваюсь под него. Отличный тайник, если только они не включат гравитационное поле — тогда ящик рухнет и меня раздавит. Этого не случится. Если произошло то, что я думаю — я снова здесь, на старте, и все пойдет как в первый раз, — тогда

гравитацию пока включать не станут.

Я обдумываю, что буду делать, когда проснется команда. Выйду к ним и все расскажу, застану врасплох, пока они занимаются плановой проверкой системы, прогоняют диагностику. Когда найдут тело Арлена, объясню: они все умерли, и я остался один, а потом тоже умер, взорвал корабль, потому что не хотел умирать медленно и бесславно, и вот я здесь и убил Арлена, вытащил из спячки раньше положенного, оставил задыхаться и замерзать в холодном корабле. «Привет, — скажу я, — пожалейте меня», хотя и знаю, что не пожалеют. Выслушают рассказ как бред сумасшедшего, двойника-безбилетника. Пойдут с вилами на штурм замка, потребуют моей смерти или, по крайней мере, привлечь к ответственности. Слушать не станут. Точно знаю, что сам я, тот, что там будет, слушать не станет. Уставится на незнакомого двойника как на безумца. Потребует объяснений и будет самым агрессивным, чтобы не сочли участником заговора, и они потребуют ответов, доказательств, что я — это я, или что он — это я, или что кто-то из нас не я.

«Кормак, — скажу я, — вот об этом знаешь только ты», — но он станет отрицать, что ему это

известно, или обвинит меня в чтении его старых дневников. Он возглавит нападение на меня. Он затолкает меня в шлюз и вышвырнет в космос, и все они будут смотреть, как я ору, умирая, — чужак, клон, безмозглая, грубая аномалия, и он даже виноватым себя не почувствует. Конечно, будет отчаянно недоумевать, но виноватым себя не сочтет, потому что настоящий я — это он, а я бы не почувствовал — не знаю, откуда я это знаю, но как будто вижу, как это разыгрывается у меня в голове, или это интуиция, нутряное чувство. Придется остаться здесь, не то они примут меня за сумасшедшего — или его примут.

Он сумасшедший? А я?

Я слышу, как просыпается экипаж, как они выбираются из коек. Я скорчился под этим ящиком, в ужасе всхлипываю и кусаю губу, чтобы не шуметь. Я слышу собственный голос — он вроде бы лучше других разносится по коридорам. Или это сознание играет со мной шутки — никогда не думал, что так громко говорю. Квинн поднялся первым и нашел Арлена, разбудил Эмми, и они вытащили его тело, пытались спасти. Пока они пристегивали его к столу — операционный стол тот же, за каким мы едим, здесь все многофункциональное, его каждый раз вытирают для новой

операции или обеда, — проснулись остальные. Я слышу плач Ванды и как Гай предлагает проверить его койку, а Эмми закрывает ему глаза.

«Ничего себе пробуждение», — говорит Квинн, вроде бы про Арлена, а на самом деле о себе.

«Должно быть, что-то случилось с подачей воздуха, — слышу я свои слова, свой голос, как в записи, чуточку гнусавый, не совсем как есть, но определенно мой. — Или там трещина?»

«Нет там трещин, — отвечает Гай. — Будь там трещина, дверца бы не заперлась. Система замкнутая — пока не заработает, не закроется».

«А если прокладки?»

«Если герметизация нарушена, тоже дверь не защелкнется. Тут что-то другое. Такое случается — напортачили с программой или с проводкой, или где-то закоротило. Перепады температуры, знаешь ли. Бывает».

Мы не раз шутили, что он попадает в стереотип: долбаная немецкая деловитость. Это давно началось, еще при подготовке, но тут мы впервые по-настоящему заметили. Я все помню. Могу вытащить из памяти, что сейчас скажу: слова у меня на языке одновременно со словами того я.

«Бывает, а не должно бы».

Мне не видно, но я помню, как это было: я об-

нимал Ванду, говорил, что все обойдется, хотя почти ее не знал. Утешал. За спиной у Гая мы говорили, что слишком он холодный, слишком конструктивный. Квинн возразил, что он таким и должен быть, что если не он, то кто же? А Ванда все плакала: я совсем забыл, что ее в тот день пришлось накачать успокоительными, что Эмми пришлось снова уложить ее в койку. Мы, когда в них спали, пристегивались и закрывали дверь, но не запирались. Я забыл, что некоторое время Ванда тоже была все равно что мертвая.

Я слышу, как они спорят, силясь вернуть Арлена к жизни, но очень быстро отступаются, потому что Эмми говорит, что тело в таком состоянии уже не вернуть. Это она в конечном счете их останавливает и называет время смерти — как в больнице. И тогда все вздыхают, а Квинн что-то гневно выкрикивает, а Гай вроде бы не слушает, потому что надо заняться делом. «Корабль, — сказал бы он, если бы его спросили, — сам о себе не позаботится».

«Надо сообщить в центр», — говорит Квинн. С ним никто не спорит. Ожидание ответа — всего несколько минут, мы тогда еще были недалеко от дома, но помню, что это длилось целую вечность — с таким-то известием. «Говорит экипаж

„Исигуро“, — надиктовывает Квинн в микрофон компьютера. — Мы вышли из капсул, докладываем. Корабль стабилен, резерв горючего 93 %, в рамках ожидаемого. Однако капитан Арлен Бестер не вышел из стазиса; привести его в сознание не удалось. Время смерти 00:47». Он обходится без подробностей про синюю кожу и меловые глаза — незачем их передавать. Нас предупреждали, мы все подписали согласие и отказ от претензий, сотни страниц, и о возможных сбоях в работе коек нас предупреждали. Один из множества видов смерти, за которые Минобороны не несет — не понесло бы — ответственности. Квинн, закончив, предлагает кому-нибудь сказать несколько слов. Мы уже обступили тело Арлена, как на настоящих похоронах: не хватает только кома земли, чтобы бросить на гроб, священника и черных костюмов. Он поворачивается к другому мне, к первому мне, и говорит, что это мое дело. «Ты умеешь обращаться со словами», — говорит он. Я запомнил свою речь, запомнил, как слова срывались с губ сгустками рвоты.

Пока другой я говорит о бороде Арлена и каким он был крутым парнем, рассказывает случаи на тренировках, я цепляюсь за стену и снова гадаю, не сошел ли с ума и настоящий ли хоть один из

нас. Осматриваю свою ногу — поврежденное место, где мне помнится кровь и торчащий обломок кости, такой болезненный, — и замечаю, что рана хоть и побаливает, но потеряла чувствительность. Я закатываю штанину, ожидая увидеть кровь, струп, рану, но все зажило. Под коленной чашечкой шрам — как кривая ухмылка, но он совсем затянулся. Я сжимаю кулак и бью себя по ноге — проверить, не накатит ли боль, и мне больно, но боль глухая, как тусклое эхо прежней. Пока я вслушиваюсь в голоса команды, болит все сильнее, и уже начинает ныть, и расползается от зажившей раны, от шрама, по всему телу.

Должно быть, память меня обманывает. Наверняка. Как бы ни выглядела рана, она понемногу разболелась так, что меня затрясло. С каждой секундой боль все сильнее. Понятия не имею, как от нее избавиться, и дрожу, и постанываю, потому что все это совершенно необъяснимо.

Команда проводит диагностику, обшаривает корабль — не забыли ли чего. Тогда — и сейчас, потому что я слышу это второй раз в жизни, слово в слово то же самое — Гай сказал, что надо увериться в нашей безопасности.

«Представьте, что вы в резиновой лодке, — говорит он. — Много часов плывете по тихой

реке, все идет нормально, и вдруг порог, и что-то дырявит лодку — прокол может быть крошечный, почти невидимый, вы его и не заметите. И вы, понимаете ли, благополучно прошли порог, остались живы, и вы расслабляетесь. Но если впереди большая река или море, как бы все ни было тихо и мирно, как бы ни успокаивало, если вы не найдете прокол, он вас погубит». Надо было искать прокол так, будто он существовал. «Смерть Арлена тут ни при чем, это стандартный протокол. Беспокоиться незачем, но сделать это надо. Беремся за работу, понимаете? Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», — сказал Гай. Членов команды распределили по помещениям — каждый обшарил их на предмет неисправности. Я забился за ящики, между ними — они стоят подковой, в просвете как раз помещается человек, и под ними, около креплений, есть место, где можно спрятаться, как преступнику в багажнике автомобиля, и молиться, чтобы не поймали. Я прячусь и жду, пока откроется дверь и кто-то примется обходить помещение. Не знаю кто, я не смотрел, чтобы не услышали шороха. Наверняка это не я, потому что мне поручили большую каюту — ничего другого не доверили, потому что — что бы я понимал? Я не то что они, остальные.

С Эмми я познакомился за много месяцев до полета, и с остальными тоже. Набрали группу в семнадцать астронавтов и пилотов, чтобы из них выбирать, и все проходили подготовку, и все были на разных стадиях обучения: шестеро врачей, четверо ученых и три журналиста — мы все прошли проверку на пригодность по здоровью и психологическое тестирование: нас целыми днями опрашивали о жизни, надеждах, страхах, семьях. Неделю провели в лагере, тренировались — доводили тела и умы до крайнего предела, — а ночами общались, но не так уж много. Нас каждый день на несколько часов выпускали из своих комнат, заставляли работать по группам, чтобы проверить на совместимость. Звонить домой не разрешалось, и они — подразделение УПИ Минобороны, конгломерат спонсировавших экспедицию компаний на госфинансировании — за всем наблюдали. Это походило на телешоу, на реалити-шоу, где зрители голосуют, кого исключить. Им надо было убедиться, что мы поладим, сможем вместе работать. Я потом рассказывал Елене, что они, по-моему, проверяли, не возникнет ли между нами сексуального напряжения или чего-то такого, что выльется в агрессию. Нам предлагалось воздерживаться от любых эмоций,

кроме дружелюбного товарищества. Они загоняли нас в учебки в одном белье и заставляли делать упражнения — никаких секретов, не скроешь ни шрама на коже, ни слегка отвисшего животика.

Нам всем, мужчинам, позволили наблюдать за Эмми в той же комнате. Я помню, как еще раньше познакомился с Квинном — у нас завязалась эта поверхностная дружба, какая возникает между мужчинами в неловком положении, когда оба не знают, как себя вести. Он нервничал меньше меня, меньше стеснялся: его тело и манера держаться позволяли такую роскошь, он был как статуя — и подстраховывал меня, придавал уверенности. Он смотрелся лучше меня, но он был крутым парнем, а мой статус поднимало само его общество. За ним была внешность, обаяние, а я умел говорить за себя. Я был идеальным вторым пилотом. Я так себя поставил, что рядом с ним не чувствовал себя не на своем месте. Мы обсуждали усы Арлена — он их тогда закручивал кверху, как бригадир времен Первой мировой в кино, — и еще говорили про Эмми, о том, как она держится.

«О, я ей не ровня», — сказал, помнится, Квинн и солгал, и оба мы об этом знали. Думаю, чтобы

меня не оттолкнуть. Хвастунов никто не любит. Я целую неделю не заговаривал с Эмми, кроме как на совместных заданиях. Мы разговорились только на второй неделе, когда группу немного подсократили.

Большая часть экипажа ест в главном зале. Ванда в душе — она так расстроена смертью Арлена, что Эмми посоветовала ей расслабиться, попробовать остыть, — а остальные стряпают, разогревают пищевые батончики. Я слышу, как они распивают вино — мы припрятали несколько бутылок на несколько разных поводов — и шампанское на полпути, само собой, — и они снимают фильм для Земли, снимаются всей толпой. Центр в ответе просил нас не упоминать Арлена — сказал, чтобы мы изобразили счастливый вид, улыбались, ликовали, желали всем самого лучшего. Мы бились с этим несколько минут, пока не заговорил Гай, взявшийся послужить гласом рассудка.

«Нехорошо начинать с трагедии, — сказал он. — Подумайте, что мы собой воплощаем? Черт побери, подумайте хоть немного не только о себе».

«Это новая эпоха открытий», — сказал Квинн, обращаясь ко всем, кто смотрел нас дома, — к

миллионам, а может, и миллиардам, приникшим к телевизорам, чтобы увидеть, как далеко мы зайдем и что там найдем. Вышло довольно слащаво, но думаю, он помог и нам самим в это поверить. Когда мы закончили и отправили запись, потом весь вечер обсуждали, что подумают о ней дома. Мне слышно, как все они вспоминают родных. Мы все кого-то потеряли — кого-то близкого и любимого.

«Думаю, не потому ли мы все рвались в космические кадеты», — пошутил Квинн. Помнится, Эмми особенно старательно смеялась его шутке — она подтверждает, что память моя не врет, ее голос разносится по коридорам, отражается от обивки стен — хохочет, словно нет в мире никаких забот. Они снова говорят об Арлене. Не помню, чтобы это было так жалко, но траур со стороны всегда хуже смотрится, да? Я теперь почти не вспоминаю об Арлене. Другой я рассказывает о Елене, не упоминая главное: почему она от меня ушла, что мы друг другу наговорили, что было до моего ухода в экспедицию, — потому что не хочу ничего менять в сложившейся картине. Гай надо мной смеется.

«Всякий скажет, что в разводе не он виноват, — фыркает он. — Никто не скажет: конечно, наш

разрыв — моя вина. Всегда виноват другой, и мы готовы что угодно наговорить, лишь бы не правду». Остальные с ним не соглашаются, вступаются за меня, а я молчу, давая им сказать. Квинн советует ему быть тактичнее, мол, это несправедливо. Эмми, защищая меня, чуть не срывается на крик.

«Всем нам бывало больно, — обращается она к Гаю, — хватит быть таким засранцем!»

Он отшучивается, хлопает меня по плечу и говорит, что он не всерьез. «Ты же понимаешь, да? — Он обращается к остальным: — Он понимает».

Я слушаю разговор дальше — как они обходят больные места, как стараются не проговориться. Часу не прошло, а они будто совсем забыли об Арлене. И только когда мы собираемся по койкам, Эмми снова о нем заговаривает — как бы невзначай, мол, жаль, что он не увидит этого вместе с нами, что он бы так гордился и что она надеется, что ему воздадут почести, когда мы вернемся, — и тут Ванда плачет.

«Нам спать рядом с ним, под этим его взглядом?»

«Я закрою глаза», — говорит Квинн и просит команду отвернуться, а сам открывает койку Арлена и делает что надо. Герой.

«Готово», — говорит он, словно больше ничего и не требуется.

Ванда успокаивается; остальные — Квинн, Гай, настоящая Эмми и другой — настоящий? — я укладываемся спать. Вот и Ванда замолчала. Я не запомнил той первой ночи — спал я или нет. И сейчас, вслушиваясь, не могу определить.

2

В основной части корабля, где расположена кабина и жилые помещения, шум двигателей почти успокаивает — или успокаивал. Ровное гудение, гул, про который известно, зачем он нужен. Пока длилась эта легкая вибрация, жили и мы, эта мысль внушала уверенность. К тому же мало-помалу к этому привыкаешь — через несколько дней мы совсем перестали об этом говорить. Но здесь, в кладовой, стены будто трясутся. Я собрал ремни, прикрепил их к полу за ящиками, продел в стандартные крепления крюки карабинов и пристегнулся. Лег и пристегнулся к месту — теперь вибрация во мне, я весь трясусь: и зубы, и кости. Нога ноет, и ноет спина, и я дрожу, и мне больно.

— Не могу, — говорю я вслух. Мне кажется, что я держался так долго; сначала один, пока они умирали друг за другом, и здесь, сейчас, — второй раз либо смотреть, как они умирают, либо взять на себя ответственность.

* * *

Мне не уснуть. Я лежу на полу — или чуть выше: большая часть тела соприкасается с жестким металлическим настилом, а остальное парит под ящиком, будто я в перевернутой постели, только без всего остального вроде традиционного матраса. Если надолго замереть, кажется, те части, что прижаты к ящикам, отрываются, отделяются. Такого раньше, в первый раз, не было. Они, в главном зале, лежат по койкам пристегнутыми. Силы тяжести у них нет, но есть буферные конструкции, удерживающие тела. В наш учебный курс входило — вы не поверите! — умение спать в замкнутом, тесном пространстве. Поначалу спали в обычных кроватях под резиновыми рамами, потом кровати приподняли, как будто мы пациенты в больнице, а положением кроватей заведуют специалисты. Нам объясняли, что надо экономить место: койки на корабле будут расположены под углом, как если бы мы спали сидя.

«И кровоток в таком положении лучше», — говорили нам, хотя Эмми всегда уверяла, что это они врут.

«В медицинской части много *лжи*, — как-то сказала она мне. — Страхуются, а когда ты не

задаешь вопросов, все гораздо проще».

Я спрашивал ее о потере костной массы — об этом нас тоже предупреждали.

«Есть такая проблема, но не у нас, — сказала она. — Дистрофия тканей начинается после многих месяцев в космосе. Вот медики космических станций — да, беспокоятся, потому что там ребята сменяются через полгода или год. А мы не так надолго. Ешь что положено, пей побольше воды, тренируйся, и ничего с тобой не случится».

Она говорила так уверенно, что и меня убедила. Я ей поверил, потому что у нас так водится. Таковы мы, люди: настроены на доверие друг к другу.

Лежа здесь, дрожа невесть от чего, будто нездоров, по-настоящему заболел, я гадаю, что происходит. Мне потому так страшно, что я не понимаю, что происходит и что это значит, и мне остается только молиться, чтобы это я сошел с ума, потому что другой вариант — я даже выговорить его не могу — намного, намного страшнее.

Я отстегиваюсь, не имея представления о времени. На корабле стоит мертвая тишина (это слово звучит предсказанием, как хрустальный шар); сон в койках имеет то преимущество, что они блокируют звуки в корабле, они так устроены, чтобы глушить наши голоса. Нам полагалось

спать посменно, но так не бывало: всегда должен был кто-то оставаться, чтобы следить за кораблем, проверять, все ли в порядке, но нужды не было. Все автоматизировано, мы с тем же успехом могли бы остаться дома, если бы нас не назначили служить глазами и ушами тех, кто хотел бы оказаться на нашем месте. Гай в день, когда нас должны были поднять на корабль, в день старта, об этом говорил:

«Мы первооткрыватели, — сказал он. — Как Колумб или те, кто впервые пересек Атлантику. Искатели приключений, так? Мы вдохновляем людей». Он только об этом говорил всегда со страстью — о нашем деле и как оно важно. В частности, внушал мне, как важна моя роль. «Ты должен рассказать все как есть, рассказать миру, что мы не герои, а просто люди, осуществляющие возможное. Это главное, так?»

Я открываю дверь кладовой и снова задвигаю. В корабле свет еще горит, так что я моргаю, я снова чуточку ослеп. Я плыву по тихому коридору к главной каюте, к кабине.

— Все это бессмысленно, — говорю я вслух, негромко, в пустоту. Я миную порог, и вот он, другой я — выглядит куда моложе, чисто выбрит, мирно спит. Я долго разглядываю спящий экипаж,

вбираю их в себя. Взгляд все время возвращается ко мне, к моему угрюмому во сне лицу. Елена всегда говорила, что во сне я выгляжу сердитым. («Как будто месть замышляешь», — шутила она.) Я гадаю, что меня сейчас рассердило, что мне снится.

В раздевалке я смотрюсь в зеркало — в первый раз с тех пор, как проснулся. Я так помят, что несколько секунд не могу примириться с тем, что вижу, — все не так. Я не узнаю своего лица: тощее, вытянутое, бессильно обвисшее, и кожа сероватая. Лицо в оспинах, в шрамах от бритья и шрамах, похоже, от угрей и царапин — тонких, как травинки. Я изучаю свою грудь — и тут метки, тоже чуть заметные шрамы, поблекшие, но еще различимые, и все ребра очерчены, выпирают, рвутся сквозь белую, почти прозрачную кожу. Руки — будто у нерешительного самоубийцы, в царапинках шрамов от правого локтя до запястья, и на левой немногим меньше. Десны запали, желтые и буроватые зубы отчаянно цепляются за челюсти. Двух или трех задних зубов не хватает, и дыхание смрадное, я сам чувствую. Я снова трясусь, тыча в себя пальцем. Страшнее любого кино, любого кошмара, потому что это ощущается настоящим — нет пленки поддельности, фальши,

и я остался сам с собой — с хрупкой разбитой скорлупкой.

Так крушение было? Взрыв? Не от него ли это осталось? Что со мной за хрень? Я говорю вслух, голос хриплый, будто я отвык говорить, и срывается на слезу, а ответа нет. Меня здесь быть не должно.

* * *

Второй день прошел точно по предписанному плану — все исполняли свои роли. Я брал интервью у членов команды за работой, или они усаживались напротив меня, как в телестудии. Каждый день я отправлял домой репортажи — один слот зарезервировали для BBC и продавали сотням других каналов по всему миру, так что мои мини-документалки показывали каждый день. Интервью тщательно редактировали (а со временем я стал записывать по одной фразе или вовсе только обрывки звука, потому что больше в наши мини-документалки не попадало), и снимки команды за работой, и пространства за бортом — в Пузыре или изредка, снятые на выходах в космос. Впервые появилась техника, позволившая принимать такие передачи, по крайней мере на первом этапе полета, так что

это входило в мои обязанности. (В какой-то степени деньги от продажи репортажей оплатили часть экспедиции: УПИ Минобороны продало права, а прибыль положило в карман. Возможно, на нее оплатили часть горючего, или кусочек обшивки, или нас.) Я все записывал, потому что потом должна была получиться статья. Я писал на компьютере — хотя это не так легко в условиях микрогравитации, и я был неудобно пристегнут к сиденью, и клавиши нажимались не так легко, как дома, не так податливы под пальцами. На второй день я все это установил. Сейчас, здесь, я слушаю, как тот я, что снаружи, задает вопросы, о которых я почти забыл и которые теперь, задним числом, звучат ужасной банальностью.

«Отчего тебе захотелось стать астронавтом?» — спрашиваю я Гая.

«Никогда не хотелось. Я хотел стать исследователем», — поправляет он.

«Хорошо, — говорю я, — отчего захотелось стать исследователем?»

«Правда? Это первый вопрос? — Он смеется в камеру, мне в лицо, что-то ему видится ужасно забавным. Гай в своем репертуаре: — В смысле, Божечки, а кому бы не хотелось?» Этот клип с ним попал в первый репортаж для дома, у него

тогда был такой счастливый вид. Я понимал, что это самодовольство, но выглядело как энтузиазм.

Я слушаю, как второй я вымученно славословит Арлена — вторая речь специально под камеру, в передней части кабины, чтобы его койка — его тело — не попадали в кадр. Помнится, камеру держала Ванда, потому что она все еще плакала, когда кто-то называл его имя, и Центр сказал, что это им в кадре ни к чему. Нам полагалось доложить, что он погиб как герой, погиб за человечество, стремясь раздвинуть границы нашего вида и рамки понятия «человек».

«Мы все испытываем сильные чувства по этому поводу, — говорит я, — он умер благородной смертью. — Что с ним случилось, мы не объясняем, только говорим о неполадке и что доставим его тело на Землю для погребения. — Мир его праху», — говорю я, а дальше идет его фото из досье с наложением дат рождения и смерти.

Потом мы вернулись к работе; помню, потому что иначе нельзя было. Нет покоя нечестивым.

Наш полет не прерывался, кроме случаев, когда приходилось отключить двигатели для принудительной остановки — что-то починить или проверить, или просто когда нам хотелось. Расход энергии и горючего нас не волновал, мелочь.

Однако для остановки требовалось разрешение Гая. То, что я делал, когда остался один (что я буду делать?), то и дело отключал двигатели — нет, такое было редкостью.

Сейчас меня глушит шум двигателей — заглушит, если я нашумлю невзначай. У меня зудит подбородок, я скребу щетину и волнуюсь, не слышно ли шуршание. По правилам нам полагалось на видео быть презентабельными. Со временем все на это наплевали, но поначалу мы брились и подстригали волосы, а Эмми красилась, говоря, что это важно. А в обычные дни не утруждали себя. Сейчас мне больше всего хочется побриться и отмыться — я провонял потом после стазиса и того, что со мной было, — и мне хочется все перезагрузить. Я умираю от голода и шарю в ящиках, где обнаружились несколько завалявшихся пищевых батончиков, но озноб от еды не проходит, а еще есть бутылка воды — чистой, фильтрованной, — и я пью, но горлу легче не становится, и мою горячку не остужает, как и желания вернуться к тому я, кем я был. За всем этим я только и думаю о бороде, которая мне вовсе не к лицу, она подошла бы лицу пожестче (вроде Арлена), и мне все время хочется ее поскрести, подергать. И надо бы подстричь ногти — когда

чешусь, я царапаю себе лицо. Обкусать их я не могу, потому что не уверен, что зубы выдержат. Надо от этой бороды избавиться, решаю я, надо ее срезать. Прежде это бы говорила гордость, или забота о себе, или самоуважение. Прежде личная гигиена меня не занимала.

Третий день подготовки был одним из самых трудных. Нас оценивали психологи: по одному уводили к себе в комнатку и показывали картинки, задавали вопросы.

«Что вы чувствуете при виде долгой темной дороги?»

«Звук текущей воды вас пугает или успокаивает?»

«Что важнее: цель или рассудок?»

Допросы длились часами — один на один с безымянными врачами в серых комнатушках. И завтракать пришлось поодиночке, сэндвичи нам вручили в запечатанных пластиковых упаковках. С чем сэндвичи, на упаковке не значилось, и разобрать было нельзя: с какой-то подкрашенной пастой вроде намазки для бутербродов. Я, еще не откусив, понял, что это проверка, что за мной наблюдают. «Что такое доверие? Что означает — брать?»

Когда закончили, я сидел в пристройке, ожидая,

что дальше: отпустят нас или будет что-то еще. Эмми вышла следующей, села рядом со мной на жесткую белую скамью и спросила, как я провел день. Мы сравнивали вопросы и ответы.

«Думаешь, за нами и сейчас наблюдают?» — спросила она.

«Если нет, то я Папа Римский».

Это ее насмешило.

«Впервые слышу, — сказала она. — Это что такое?»

«Старая поговорка. Мои родители так говорили».

«Папа Римский…» — Она улыбнулась, и мы еще поболтали, пока не вышел Квинн. Он подсел к ней с другой стороны, перехватил разговор: такая у него была роль — лидера.

Я шарю по коробкам в поисках бумаги, чтобы записать все, что запомнил с первого раза. Точных дат не помню: после гибели Гая мы перестали отсылать репортажи в центр, потому что они размечали дни стоп-сигналами, напоминали нам о времени — хоть сколько-то, я тогда совершенно утратил ощущение дня и ночи. Квинн те несколько дней, пока был жив, пытался спать строго по часам, но я это совсем забросил, спал, когда устану. Эмми… насчет Эмми не помню. Я

набросал примерную хронологию событий, что когда случилось, начиная со смерти Арлена. Гай — через пять дней после Ванды. Квинн — примерно через день после Гая. А Эмми я усыпил на следующий день. Я пытаюсь припомнить, сколько дней провел здесь после того — сколько прошло, пока все рассыпалось. Кажется, так долго — как целая жизнь или сотни жизней.

«Всего два дня прошло, — соображаю я, — как корабль…» Я пытаюсь считать в обратном порядке, перебираю дни — и для практики, и чтоб справиться с собой, — но не справляюсь. Рядом со своим именем я вписываю семерку — хотя, может быть, там было всего три, а могло быть и пятнадцать, не могу сказать. Я несколько раз вслух перечитываю имена, отсчитываю дни на пальцах, как будто точно запомнил, что было, как будто подсчет что-то изменит. А дальше дыра — зазор между тем, что было, и теперь, когда пострадало мое тело, а я заболел (дрожу, трясусь, потею) — и снова проснулся.

У них в главном зале кресла с ремнями, чтобы прижимать их к сиденью. И постели с бортиками, с резиновыми подставками, чтобы не свалиться, чтобы ничего не случилось, чтобы держать их в рамках и дать максимум оптимального отдыха,

и одеяла на липучках для тепла и ощущения, что они в обычной постели, что спят; и возможность разогреть пищевые батончики, и выбор вкусов для разнообразия; и пить можно не только переработанную воду; и есть тренажеры, можно пристегнуться к гребному или к силовому, и во что-то упереться, и ощутить настоящую нагрузку, давление, почувствовать, как работают мышцы, сопротивляясь не только отсутствию тяжести, как давят друг на друга, нагружают кости, не дают суставам потихоньку расслаиваться; и компьютеры, чтобы отправить сообщение на Землю и принять ответ, написать родным, друзьям и услышать, что те здоровы и благополучны, и поговорить с наземным центром управления, заверить, что все идет гладко, получить указания, услышать, что и на том конце все хорошо; и есть с кем поговорить, даже если те люди на самом деле не рядом, даже если при нормальном общении никто бы их в друзья не выбрал, но сама возможность беседовать, спорить, ссориться, обсуждать и видеть других людей, просто убедиться, что они не одни; и у них есть Пузырь, и кабина, и возможность видеть, где они, по-настоящему оценить свои достижения, своими глазами увидеть то, что никто еще не видел — разве что в записи,

зернистой и какой-то ненастоящей, потому что это надо видеть невооруженным глазом, чтобы по-настоящему прочувствовать; и у них есть с кем этим поделиться и заверить, что они еще в своем уме. У меня ничего нет. Я сам и темнота кладовой, и я не властен над тем, что со мной происходит, потому что все это уже произошло.

Корабль этой ночью скрипит. Я поначалу отмечаю это глухо, как будто у лежащего в постели рядом разболелся живот — слышишь, но не понимаешь, откуда идет. Прижимаюсь ухом к стене и изо всех сил вслушиваюсь, но слышен только тихий скрип, да и тот прекращается.

— Или я сошел с ума, или как-то вернулся на корабль, — говорю я вслух, чтобы слова обрели вес.

Я подумываю все поменять и каждый раз удерживаю себя. Стоит подумать — сводит живот и тошнит сильнее прежнего, и я удерживаюсь и говорю себе, что так лучше. Помнится, в детстве я смотрел кино — научную фантастику с путешествиями во времени (ха! Прямо про меня! Я — путешественник во времени), и там говорилось, что нельзя менять прошлое, не то все сломается. И невозможно изменить, говорилось там. Не знаю, правда ли это, но мой живот и все инстинкты с этим согласны.

Мне слышно, как Гай говорит, что он зайдет в кладовую, — прежде чем зайти, и это облегчение, спасение: я чуть не заснул, почти уснул, пытаясь не думать о том, как мне плохо. Он что-то кричит в коридоре, обращается к Квинну, говорит, им там что-то нужно — затычки к фильтрам на койке Арлена, они там, чтобы пропускать внутрь воздух, который Арлену теперь ни к чему, — а Квинн кричит, что они должны быть в ящиках.

«Вместе с остальным хламом», — говорит он. Мы возненавидели эти ящики еще при погрузке корабля, потому что все в них было армейское. Ученые, перечисляя, что в них хранится, всегда предупреждали, что нам ничего из этого не понадобится. Ничего необходимого.

«Главное, помните, — говорили ученые, — в первую очередь экспедиция. Зайти так далеко, как только возможно, и для этого использовать все средства».

В этих ящиках и были средства. (Я помню, как Гай хотел заткнуть фильтры — Ванда беспокоилась, не пойдет ли от Арлена запах. Эмми ее уверяла, что нет, но она не хотела слушать. Ванда есть Ванда.)

Тяжелее всего здесь от тревоги, что кто-то войдет: в невесомости шагов не слышно, и системы

предупреждения нет. Крик Гая дал мне знать, что надо пригнуть голову — в ящиках, под которыми я лежу, ничего нет: запчасти для панелей наружной обшивки на случай удара астероида или чего-нибудь такого, не знаю — точно не то, что будет искать Гай, но все равно. Я поспешно распускаю ремни на другом ящике, за который забился, и проползаю под него, следя за тенью от наружных светильников при приближении Гая. Я не издаю ни звука и слышу, как отодвигается дверь и Гай, вплыв внутрь, закрепляет ее в открытом положении. Он хватает нужную коробку, подтаскивает к свету из коридора, раскрывает крышку и шарит.

«Verdammt du Hurensohn[3], — бормочет он и кричит в коридор: — Здесь такой бардак… — Я слышу, как он там все переворачивает, выкладывает на пол. — Этикетка есть? — Он сует все обратно, подходит ближе к двери. — Значит, что они здесь, в этой коробке. Где там Ванда? — Он зовет ее по имени, она откликается. Он сваливает все обратно, заходит поглубже в кладовую. — Ты составляла список?» Она отвечает, что сейчас принесет, и он приваливается к ящику в ожида-

---

[3] Примечания: 3

«Будь ты проклят, сукин сын» *(нем.)*.

нии. Я опасаюсь, что он расслышит мое дыхание, и стараюсь сдерживаться.

Наконец появляется Ванда с инвентарным списком, и они с Гаем читают, что в коробках (они все пронумерованы, от одного до одиннадцати), и находят затычку в ящике на дальнем конце. Они выходят, после того как несколько минут расставляли коробки на места, почти не разговаривая — они никогда особо не ладили, между ними был холодок, разговаривали нечасто, — и закрывают за собой дверь. Я слышу, как задвигается створка, и замечаю, что все это время жмурился, будто играющий в прятки ребенок. Здесь нельзя оставаться, понимаю я. Нужно укрытие получше этого.

В первый раз нам позволили обойти корабль на вирт-симуляторе. Еще пока шла стройка, когда он был еще фантазией, когда до настоящего полета оставалось восемнадцать месяцев. Нас — почти всех, кому предложили эту работу, затраханных тренировками и тестами, — провели по кораблю. Экскурсию вел кто-то из ученых. Нам показали каждый уголок, каждую трещинку — открывали помещения, прокручивали на экране, снимали панели со стен, чтобы показать, что внутри: провода, трубки, лампы. Нам показали, как работает

пьезоэлектрика: крошечные сенсоры трутся о металл в просветах между наружной обшивкой и внутренней, на которой те сенсоры держались. Просвет пришлось сделать широким — корпус корабля принимал вибрацию, а внутренняя обшивка с сенсорами переводила эти вибрации в энергию, заряжая батареи. Помню, я стоял там с Арленом и одним врачом, не попавшим в окончательный состав.

«Вроде шкафа», — сказал Арлен.

«Только моя жена сюда и половину платьев не втиснет», — заметил врач.

«Хорошо, что она с нами не летит».

Нам показали все части корабля и снаружи тоже: электросеть, механику — я в этом ничего не понимал. Все панели делали съемными, чтобы можно было подобраться к электросети для ремонта. «Снимете их и почините корабль, — говорили нам. — Если откажут батареи, снимите стенку и заберитесь внутрь, наладьте пьезоэлектрику изнутри. Здесь все можно отремонтировать. Что жизненно важно для длительного полета „Исигуро“ и команды первопроходцев».

Я выжидаю, пока экипаж уляжется по койкам, прихватываю из коробки инструмент — узкий металлический стержень, он сойдет за ломик.

Он входит в щель между двумя панелями задней стены, и я снимаю панель. Теперь мне видны внутренности корабля. Его потроха. Они переплетаются, как вены, кишки, артерии, кости, нервы, синапсы, кровь, и занимают чуть ли не каждый дюйм. На виртсимуляторе нам показывали шершавый серый металл, а тут все ярко раскрашено, разные провода скручены в кабели. И еще изоляция — белая пена, какую покупают для починки крыши, — изоляция будущего. Между стенами хватает места для человека, можно даже повернуться, вытянуться во весь рост, размяться. Я выдвигаю панель и пробираюсь внутрь. Здесь холоднее, чем в корабле, но ненамного, а шум такой громкий, что, едва я забираюсь за панель, в голове начинает стучать. Зато, задвинув за собой панель, притянув ее на место и услышав хлопок герметичных клапанов, запирающих меня в непроглядной тьме, я ощущаю себя в полной безопасности. Здесь меня никто не найдет. Идеально.

Стиснутый между стенами, я чувствую что-то в рабочем кармане брюк. Карман закрыт на молнию, я ее открываю и нахожу пузырек с таблетками, полный на четверть. Обезболивающие. Не знаю, откуда они, да это и неважно, потому что

они — все, что у меня есть, и, глядя на них, я испытываю неодолимое желание проглотить одну — чистое тупое желание вроде голода или жажды. Я глотаю таблетку и через десять минут почти не чувствую ногу, а озноб с дрожью прошли, и я действительно, по-настоящему расслабляюсь.

Я впервые начинаю дышать и оцениваю свое положение. Понятия не имею, как и почему сюда попал. Вдыхая, чувствую воздух в груди и не сомневаюсь, что он настоящий.

Я закрываю глаза, пытаюсь уснуть, но каждый раз на грани сна веки такие тяжелые, что их невозможно открыть, чтобы проверить, не расступилась ли темнота, и грязный шум корабля в ушах такой черный, что каждый раз на грани засыпания мне в голову приходит мысль, такая четкая, что вырывает из сна.

«Этого не может быть, — думаю я. — Это совершенно, совершенно невозможно».

3

К тому времени как я подписался на эту работу — по настоянию агента и редактора, озабоченных выводом моей карьеры (уж какая бы ни была) на новый уровень, — пилотируемых полетов не было десять лет. В 2010-м — я думаю — НАСА (тогдашнее) объявило, что приступают к разработке марсианской экспедиции. Все ждали колонизации (или чего-то вроде) Луны, но не дождались. Вместо этого шли работы над оптимизацией запусков, способов справиться с гравитацией. Считалось, что это сэкономит тысячи долларов на горючем. Потом, в 2015-м, Индия запустила своих, промахнулась — не попала в Луну и потеряла экипаж. Запись прокручивали снова и снова — аппарат взрывался фейерверком, мы все угрюмо и завороженно на это смотрели. После этого все государства свернули космические программы. Никуда не летим — это деньги налогоплательщиков. Все вдруг свелось к частным компаниям, к лидерам промышленности, собравшим небольшие научные группы для запуска зондов, попыток разработать более эффективное горючее и новую систему двигателей.

В шестидесятых человечество высадило человека на Луну — все страны отчаянно состязались за первенство. А тут компании состязались, кто первым высадит человека на Марс. Они тратили деньги на то, чем не занималось государство: на маркетинг, пиар, на развлекательную сторону космических полетов.

А потом беспилотный аппарат доставил с красной планеты известия о посадке, об атмосфере, о температуре, и насколько нам — я говорю Нам, в смысле человечеству, всей расе — невозможно добраться туда при имеющейся технологии. Мы двигались не в ту сторону. Так что они запели на другой лад. Пуск все-таки будет, говорили они. Мы просто испытаем, куда сумеем добраться при максимальном усилии и сколько нам понадобится, чтобы попасть на Марс, когда мы наконец до него доберемся. Я как раз закончил школу, начинал писать, работал на фрилансе для газет — денег не зарабатывал, но копил ценный опыт, а никто этого не понимал. Я написал для тематической недели, посвященной этому пуску: писал, как важны для нас новые знания. Мы посылали зонды и кинокамеры, говорилось в статье, но не свои глаза — а тут мы оглянемся на себя издалека, из такого далека, в каком никто

не бывал, и, можно надеяться, поймем себя чуть лучше, чем понимаем. Аппарат — беспилотный, управляемый с международной космической станции, — дотянулся до Марса. Взял образцы, сделал снимки и вернулся домой. Флаг — с признаками всех флагов мира, вроде размытого коллажа — установила механическая рука под удаленным управлением, и эту запись крутили много недель: торжественный миг покорения нашей первой планеты. А потом вышло наружу — видео утекло в «Ютуб», неофициально, — что тот флаг рухнул через считаные секунды, его сдуло ветром, и люди стали поговаривать, что никакого достижения тут нет. Даже с высадкой на Луну не сравнить, говорили они. В шестидесятых мы кое-что покорили, а здесь так, заскочили на минутку. «В следующий раз посылайте человека или вовсе не беритесь», — звучало по всей Земле.

Только вот на большее денег не нашлось. Государства всего мира держались от этих дел подальше, не желали вкладывать ни гроша. Все ушло в частные руки, и компании обнаружили, что им никак не собрать фондов на полностью пилотируемую миссию. Тогда они перестроились. Стали нанимать другие компании, умевшие выставить настоящую цену и использовать бренды. Взяли за

правило: без глупостей, все деловито и со вкусом. Все продовольствие на корабле разных брендов, и на всей нашей технике названия фирм, и все знают, какая компания поставила двигатели, а какая — горючее. И, более того, финансировавшие экспедицию частные компании — под зонтиком Управления Перспективных Исследований Минобороны, ставшего теперь независимым органом госаппарата США, — наскребли денег ровно на один старт. Все или ничего. Все понимали, что, раз уж мы никуда не высаживаемся, должны совершить что-то необыкновенное, что-то вдохновляющее. Совершить подвиг, какого никто еще не совершал. Зонды и раньше уходили на миллионы миль от Земли, но люди — никогда, наш полет был первым. Построили наш корабль, способный выдерживать экстремальные температуры, горючее сжали до пределов возможного, и запасли максимум, и снабдили нас записывающей аппаратурой, камерами, экипажем, чтоб хорошо смотрелся на экране, — привлекательным и симпатичным большей частью. Небывалый подвиг должен был попасть в научно-фантастические фильмы, в космооперы и комиксы, а для этого надо было вывернуться наизнанку, залететь туда, где еще никто не бы-

вал. Так оно и рекламировалось: путешествие, соперничающее с Колумбом, с романами Жюля Верна. УПИ (в сотрудничестве с «Макдоналдсом», «Кока-Колой», «Бритиш петролеум», «Британскими авиалиниями» и новостными агентствами) претендовало на эпический размах.

«Плаща и кинжала» там было больше, чем обычно бывает с космосом, где за много лет тонко намекают на будущее торжество. Здесь сначала все спланировали и устроили, а уж потом показали по телевизору, всем и каждому. УПИ утилизировало сорок восемь мелких компаний со всего света, то есть вся эта история стала интернациональной, без границ. Это было серьезно. Нам предстояли и научные опыты: исследовать нащупанную телескопами аномалию, что-то, чего не прощупаешь с Земли. Помню, как о ней объявили. Нам предстояло просто снять показания и их передать — ничего такого, что требовало бы настоящей работы, но все это можно было проделать только на месте. Зонды не справлялись, это надо было выполнить вручную, и здесь в дело вступал Гай. Для него эти исследования были и работой, и жизнью. УПИ внушало нам, что у них в запасе один выстрел: если сразу не убедить в важности космических полетов — что они вдох-

новят все человечество, весь мир, объединят, сведут воедино, — правительства, скорее всего, откажут в финансировании. Вот они чего добивались — возобновления настоящей космической программы. Вернуть славу белых времен. Полет продали, заложили, разделили между корпорациями-партнерами, и каждая минута его попадала в эфир. Выпускались трейлеры с анонсами первой части — миру сообщали о строительстве корабля, о технологиях, о команде.

Когда до разных новостных агентств дошло, что в экипаж хотят включить репортера, за этот шанс ухватились все. Для начала проходили собеседования — печатные и видео на равных, чтоб по справедливости, — а потом нас отсеяли. Когда я рассказал всем, что попал в шорт-лист — напрочь нарушая договор, но ведь то были ближайшие друзья, родные, — в честь меня устроили праздник, и мне весь вечер рассказывали, как мной гордятся, что мне предстоит совершить что-то немыслимое. Я твердил Елене, как это изумительно, как я счастлив.

«Рада за тебя», — только и сказала она.

Утром я слышу сквозь стены голоса просыпающейся команды — они переговариваются, берутся за дела. На секунду, притворившись перед собой,

будто забыл, я слушаю их, как старинный радиоспектакль. Актер, исполняющий мою роль, так хорош — как настоящий. Если не знаешь, ни за что не догадаешься.

У них это третий день. На третий день мы записали еще несколько интервью, отослали домой еще несколько репортажей и усердно делали вид, будто не раздражаем друг друга. Совсем одни, еще не оправившись после смерти Арлена, мы то и дело стукались лбами. Все проснулись не в настроении. Я слышу, как огрызаюсь на Ванду, сказавшую, что не хочет нового интервью: напоминаю ей, что это прописано в обязанностях по договору, что она на это согласилась, — и слушаю, как она коротко и сухо выкладывает мне факты. Я забыл, что она так говорила потому, что терпеть не могла, когда ей что-то навязывают, а не потому, что была такой. В смысле, тут есть связь, но она была холодней перед камерой, когда объектив смотрел ей в лицо. Я прошу ее чем-то заняться, чтобы на видео выглядеть занятой, чтобы люди дома увидели, как это смотрится. Она берет салфетку, плывет к столу и начинает его отскребать.

«Все это ненастоящее», — говорит она. Она на грани слез, вот-вот расплачется. Пока я ее рас-

спрашиваю, цепляется за стол, и мне слышно, как срывается у нее голос. Тот я, что с ней говорит, фыркает. Мы с ней не в ладу. По-моему, Ванде никто из нас не нравился. После ее смерти так просто было все это переписать. В моей реальности она была неприятной особой. Почему мы прозвали ее Юнгой? Потому что она нас чуточку злила, потому что мы были старше, лучше подготовлены, более уважаемы, более признанны. Потому людям и дают клички.

Все точно так, как было в первый раз, и совсем не похоже на то, что мне помнится.

Подкладка. Так я себя чувствую здесь, между стенами, — подкладкой для чего-то куда более важного. Я прижат электропроводкой, нагревателями, водой — источниками всего необходимого для корабля. Здесь темно, только в вентиляцию пробивается свет — по этим огонькам я ориентируюсь, а еще по голосам, доносящимся через каналы кондиционеров. Я могу ползать по всей длине корабля, от помещения к помещению; до самых двигателей, где подкладка становится слишком тонкой, мне не протиснуться. И дальше жилых помещений мне не пробраться: у кабины опять слишком тесно и высоты не хватает. Местами — за койками, над столом, над раздевалкой у

шлюза — можно выглянуть в вентиляционные решетки — прижаться к стене и заглянуть. Я все вижу — вуайерист, футуристическая версия любопытной Варвары. Я целыми днями украдкой подслушиваю разговоры, проигрываю их в голове, пытаюсь вспомнить, как там было дальше: я ли вел беседу или позволял себя вести.

Я заглядываю в вентиляцию. Мне виден стол, за которым, пристегнувшись, обедает экипаж. Мы только что отправили передачу с Квинном в главной роли («У него подбородок словно создан для телевидения, — шутит Гай, — такой хорошенький, паршивец») и едим брендовые кушанья — бургеры в виде компактных батончиков, — и пьем из картонок с полупроницаемыми клапанами, и говорим о доме. Начинает Ванда, ее расшевелил Гай:

«У меня папа умер, а мама вернулась домой, в Корею. Может, она увидит это по телевизору и… не знаю, увидит и поймет, что я чего-то стою?»

«Ты на это пошла, чтобы что-то доказать? — спрашивает ее Квинн. Она кивает, мне из-за решетки видно, как двигается линия подбородка: собирается морщинами, напрягается. — Потому что она, ну, увидит это — увидит тебя здесь, наверху, — и подумает: „Ого, она чего-то стоила“? — Он

это произносит чуть ли не с недоверием. — Чертовски сложный способ послать родителей на хер. — Он, кажется, всерьез рассержен. Эмми прокашливается, чтобы сбить настроение, но я вижу только подбородок Ванды, все еще в морщинах. — Я здесь не для того, чтобы кому-то что-то доказывать, — говорит Квинн. — Я хочу сделать что-то хорошее, что-то стоящее».

«И я тоже», — говорит Ванда.

«Ладно-ладно, пусть так».

Мне слышно, как он пьет, хлюпает.

«А ты как в это влип? — Это Гай сворачивает на другое, переключается на Квинна. Про него трудно было сказать что-то однозначное: сейчас он ярится, всем противоречит, через секунду целеустремлен и увлечен, а вот он всех успокаивает, возвращает равновесие, еще через одну — отчаянно пытается все обнулить. — Ты всегда был таким милашкой-пилотом?» Вопросы инквизиторские, а он делает вид, что шутит, что все это пустяки. Отвечай не отвечай, Гаю так и так весело.

«Начинал в индийской военной авиации, потом в британской. Двойное гражданство. Потом кое-что помельче, на частном финансировании, пока меня не сцапали большие дяди».

Мы пересказывали свои истории по многу раз, снова и снова.

«Мать хотела, чтобы я повоевал в воздухе. Ей казалось, это славное занятие, потому что так погиб мой отец. Он заслужил почести, а я нет. После ее кончины я перешел в маленький проект, тихое дельце на американском финансировании, и ушел из армии. Всегда ненавидел военных».

На это мы ничего не отвечаем, потому что Арлен армию любил, и Ванда тоже. Они оба ради нее жили, и разговор, размотав эту цепочку, мог закончиться только слезами.

«Так что, завтра делаем остановку?» — слышу я себя.

«Ага, для осмотра обшивки».

Это была первая остановка по графику, и мы так волновались, что с трудом держали себя в руках.

На подготовке нам о силе тяжести — и о переходе от невесомости к внезапному ощущению твердой опоры под ногами — почти не говорили.

«Это будет странное чувство, — объясняли нам, — будто вы ничего не весили, даже во сне, и вдруг вес вернулся». Нам показали, как закрепиться перед включением гравитационного поля, как упираться ногами и готовиться к тяге вниз. «Это вам не мультфильмы, — говорили они. —

Никто никуда не плюхнется, вы не поранитесь, разве что при неуклюжем падении. Выполняйте эти правила, и все будет хорошо». Мы их выполняли или делали вид, что выполняем, а потом о них забыли. Правила были здравые, надежные, как на видео, которые вам показывают в первый рабочий день — предупреждения, которые никогда не сбываются. Все будет хорошо.

Я впервые за много дней засыпаю, но сплю чутко, некрепко. Мне удается вклиниться между двумя трубами, резиновыми шлангами толщиной с мою руку, — забиться под один из них плечом, чтобы не взлететь к потолку. Адски больно, но я принимаю еще одну из найденных таблеток болеутоляющего, и все хорошо. Они помогают уснуть — задремывать и просыпаться каждые двадцать минут. У меня все болит. Я приказываю себе не ныть, потому что самому противно слушать, но не могу. Если уж боль вцепилась и грызет, наполняет каждое движение — от нее не избавишься. Воодушевление потрясающее. Тот я, что в команде, блаженствует, снимает все подряд, говорит скороговоркой. Мне слышно, как я что-то печатаю, пальцы неуклюже попадают по клавишам — это доклад, часть статьи, дневник, который уйдет на веб-сайт журнала «Тайм», —

хроника всех наших действий, первый черновик, не отредактированный, мои записи в сыром виде, — а Эмми с Квинном чему-то смеются, а Ванда с Гаем готовят шлюз к выходу. Закончив, Гай обращается к нам:

«Остановку нужно сделать как можно короче, — говорит он. В такие минуты он становится очень деловым. — Останавливаемся, выполняем что требуется и движемся дальше, так?»

Эмми смеется.

«Почему бы не задержаться подольше? Горючее не тратим, ничего такого».

«График, — отвечает Гай. — А чего бы ты хотела? Если я вам это позволю, вы будете останавливаться каждый раз, как вы садитесь на сраный горшок, или у вас в животе крутит, или охота поесть, не взлетая над стулом. — Забавно, он на полпути от гнева к смешку. — График есть график».

Команда подтягивается. Я прижимаюсь к стене, втискиваюсь как можно крепче, упираю ноги в пол, как нас учили. Гай просит Квинна нажать кнопку полной остановки, и тот нажимает.

«Ну, ноги, не подведите», — говорит он, и все как будто замедляется. Мне слышен из каюты тихий стук подошв по металлическому покрытию,

а меня за обшивкой тянет вниз. От нагрузки на колено я морщусь — даже сквозь болеутоляющее. Но сдерживаюсь: они, если меня услышат, стены разнесут.

— Дерьмо! — вырывается у меня, я забыл про голос. Они меня не слышат, но шепот разносится между трубами, сквозь подкладку и электропроводку. Я слышу, как Гай с Вандой подходят к шлюзу, надевают скафандры, и тот я, что с командой, идет с ними — снимать первый выход в пространство. Я помню, как стою у шлюза, смотрю на них сквозь стекло, смотрю, как Гай открывает люк, а Ванда вылетает в первый полет — совсем не так, как внутри корабля, идеально плавно, без усилия. Она скрывается за люком, и страховочный трос натягивается, а потом она на нем подтягивается обратно к люку. Я помню, как все это снимал — блестящая запись для передачи домой: Ванда в свободном полете. Только через четыре дня, когда она погибла — погибнет, — эта запись станет жутким предсказанием, пророчеством. Меня тянет рассказать ей, остановить события. Но чутье подсказывает, что нельзя.

Нога у меня болит, так что я лезу в карман, достаю еще таблетку болеутоляющего и глотаю насухо. Соображаю, что припасы мои подходят

к концу: бутылка с водой почти опустела, и пищевых батончиков не осталось — а значит, мне придется снова выбираться в корабль, возвращаться на склад с его богатствами. В каюте Эмми с Квинном обсуждают Ванду, говорят, что очень уж она усердствует. Мы всегда на это ворчали.

«Не верю я, что Юнге так уж нравится выходить в космос, — говорит Эмми. — Весь день ноет, а потом отправляется?»

«Она с Гаем, — отвечает Квинн, — а с ним ничего похожего на веселье не дождешься».

Я слышу, как он расхаживает, подходит ближе ко мне, к сидящей за столом Эмми — она по-настоящему сидит, кажется, впервые за целую вечность, так мы все говорили.

«К тому же тебе больше по нраву оставаться здесь со мной, так?»

«Не надо, — говорит Эмми. — Вот этого не надо».

Мы с Еленой поссорились из-за моего участия в испытаниях. Задолго до объявления, что меня взяли в команду. Мы ссорились со дня, когда я подал заявление, но я говорил, что для меня это важно, может быть, ничего важнее я в жизни не делал. Когда журналистов осталось четверо — когда нам всем сказали, что мы все из того

теста, что подходит для работы, которую задаст нам космос, — нас на неделю увезли во Флориду; на целую неделю покруче того, чем мы день ото дня занимались в Нью-Йорке. Мы в шутку называли это космическим лагерем, но Елена, когда я ей рассказал, взъерепенилась. Мы тогда жили в отеле недалеко от аэропорта Кеннеди, потому что там располагался ангар, где проходили почти все учения, и она оттуда писала обзоры: ходила в городские рестораны и ела там в одиночестве, а потом сообщала американскому филиалу своего журнала, что думает об их рулетах и сливочных десертах. Когда я, вернувшись в номер, сказал, что уезжаю в космический лагерь, она сорвалась.

«Как ты мог?» — спросила она на мое предложение ей остаться на месте, пока меня не будет. Другие тоже взяли в поездку жен, мужей и партнеров, и все поселились в том же отеле; я, между прочим, предлагал ей получше с ними познакомиться, пока меня нет.

«Ты правда едешь?» — спросила она.

«Я не для того так далеко зашел, чтобы теперь останавливаться, — сказал я. — Это всего на неделю». Елена впала в уныние — или даже в депрессию. Я не знал, пройдет ли это со временем. Она приняла таблетку и уснула, а когда мы

проснулись на следующее утро, сказала, что возвращается в Лондон.

«Дождусь там тебя, тогда и поговорим», — сказала она.

«Мне это нужно, — сказал я ей, — и ты нужна. И то и другое».

«Знаю», — ответила она. Мы поцеловались, прощаясь в аэропорту, и я отдал немыслимые деньги за купленный в последнюю минуту билет, и она улетела. Я просидел там до конца дня, пока не собрались другие кадеты — мы так называли друг друга по фантастической книжке, которая стала у нас любимой, — и мы не сели в самолет. Я оказался рядом с Эмми, по чистой случайности. Мы не виделись около недели после психологического тестирования.

«Привет, Папа Римский, — сказала она. — А я гадала, куда ты подевался».

Мы были все в разных группах, проверялись на совместимость. В космосе нам предстояло провести долгий срок, и они хотели проверить, сможем ли мы работать в команде. Эмми была с остальными медиками. Одна группа — для врачей, другая — для пилотов, исследователи и ученые — в своей, и в последней — журналисты. Хотели каждую сократить до ядра, а уж потом

свести и позволить налаживать связи.

«Разобрался, что значит доверие? — По другую сторону от Эмми сидела другая журналистка, она вытянула шею, с любопытством прислушалась. Эмми объяснила: — Нам психологи задавали одни и те же вопросы. У вас такие же были?».

Журналистка вздохнула:

«Я это пропустила: желудочная инфекция. Пройду, когда вернемся».

«А, тогда не будем спойлерить, — засмеялась Эмми. — Серьезно, не так уж оно плохо, но вот этот парень вышел от них с таким видом, будто его тошнит».

«Тошнит?» — спросил я.

«Господи, еще как! Я потому с тобой и заговорила: решила успокоить, пока ты на стенку не полез».

Я понял, что она шутит, чтобы завести ту журналистку.

«Тебя тошнило?»

«Еще как, — ответил я. — Хуже дней мало припомню».

Когда мы взлетели и соседка-журналистка уснула, Эмми подалась ко мне и заговорила полушепотом:

«Это же конкурс, да? Как в „Чарли и шоколадная

фабрика“. Золотых билетов мало, а я предпочитаю, чтобы он достался тебе, а не ей». — Она положила руку мне на плечо, сжала пальцы.

На секунду, на короткую секунду я забыл о Елене.

Гай с Вандой возвращаются из космоса, и Эмми упрашивает Гая, чтобы и ей дал попробовать.

«Раз уж все равно стоим, — говорит она, — какая разница. Всего на десять минуток».

Он ей разрешает, потому что еще не остыл после выхода. Мы все отправляемся к шлюзу посмотреть, как она одевается — она выходит с Вандой, которой почему-то досталось больше всего учебных часов по этой части — больше всего часов на симуляторе, — и они несколько минут танцуют за бортом.

Здесь, сейчас, я торчу за подкладкой и стараюсь не слушать, и ногу снова дергает боль, и я подумываю, когда можно принять следующую таблетку. Я не смотрю.

Через пятнадцать минут, когда включают двигатели и меня медленно тянет вниз, мое тесное пространство вдруг кажется еще теснее. В каюте вздыхает Эмми.

«Это было изумительно, — говорит она, склонившись надо мной и Квинном. — Ребята, вам

тоже надо попробовать».

«В другой раз», — отвечаем мы оба.

Я проплываю через помещение, тихонько сдвигаю дверь и пробираюсь к каюте. Экипаж еще спит по койкам, дверь плотно закрыта. Я все забываю про Арлена, а он тоже там. Я открываю аптечку, вытаскиваю коробку с таблетками болеутоляющего — точно такую, как нашел в кармане. На старте было тридцать коробочек, более чем достаточно или должно быть достаточно, — и еще разные антибиотики, какие прописывают от незначительных инфекций. Все с этикетками — надо думать, на случай если с Эмми что-то случится. (Оно и случилось, случится.) Еще я беру запасной бинт — поддержать колено. Тугая эластичная повязка, чтобы дать ноге покой. Поспешные поиски тянутся как в замедленной съемке. Я очень стараюсь ничего не упустить, оставить все в тех же пластиковых контейнерах, в каких нам их выдали. Я подхожу к компьютеру, сажусь, загружаю свою папку и разглядываю снимки любимых людей, которые взял с собой. Я по всем соскучился: даю приближение на лица, заставляю себя в точности вспомнить, какими они были. Потом перечитываю свою дневниковую запись за этот день — ту, что отправил на

Землю. Слышу свой голос, добрый и взволнованный, и представить не могу, что это был я, что я был тем, кто все это записал. Хотя я помню, как записывал. Помню использованные обороты: пышные, затейливые, переполненные метафорами и скрытым смыслом. Видел бы я себя сейчас!

Я выхожу из файла, еще раз взглянув на портрет Елены, а обернувшись, вижу себя, уставившегося на меня из моей койки — открытыми, зрячими глазами. Я не включал света в каюте — здесь темно, и еще темнее из-за тонированного стекла, но его — мои — глаза следят за мной, провожая по комнате: жуткое старое полотно на закопченной до черноты стене старого особняка. Не знаю, проснулся ли он: я не помню такого, не помню, как застал второго себя, крадущегося по коридорам, пока все мы спим. Я продвигаюсь к двери, выхожу, тихо отступаю к складу, ожидая шипения его открывающейся дверцы, но все тихо. Я закрепляю за собой стену, протискиваюсь снова в подкладку и глотаю антибиотики, болеутоляющие, воду.

Остаток ночи мне не уснуть, от таблеток я только отупел. Я обдумываю, почему здесь оказался и что происходит. Чем это кончится, мне известно, и я знаю, что кончиться может только

моей смертью — и того я, что в каюте, и того, что здесь. Я представлю, как, запертый здесь, в подкладке, борюсь за дыхание, колочусь в стены, а воздух — кислород, единственное, в чем я действительно нуждаюсь, — замещается пустотой, его отбирают без возврата, и я здесь задыхаюсь. Я бьюсь в стены, а единственный, кто мог бы меня услышать, — я, уже умерший там, за стеной.

Когда все просыпаются, тот я ничего не рассказывает об увиденном — если что-то и видел. Уверен, что нет: в остальном все точно как прежде. Корабль движется тихо, тянется долгий день проверок и записей. Все должно быть подробно описано — все до малейшего изменения, каждый замер. Корабль облеплен кинокамерами и фотоаппаратами, каждую веху пути следует запечатлеть для будущего. Этот, четвертый, день как раз для этого, для записей. Я прячусь, не сплю, а потом, когда все укладываются в койки, тоже ложусь. Таков распорядок. Я слушаю их разговоры и еще помню их, их повороты и течение. Все так естественно.

Каждый шорох вырывает меня из сна. Сплю гораздо меньше, чем нужно бы. Просыпаясь, я каждый раз спрашиваю себя, как мне завтра функционировать, и эти мысли не дают мне

уснуть. Я сплю не более часа за раз и переживаю, что все это бессмысленно.

Экипаж собирается за столом на очередной прямой эфир для передачи домой, для вооду-шевления оставшихся. Я из-за решетки слежу, как они подтягиваются к столу — неестественно тесно, вплотную друг к другу. Устанавливается связь, и команда улыбается, бодро здоровается. На экране улыбающиеся лица Центра: сперва двигаются только губы, потом каюту заполняют голоса из маленького компьютерного динамика.

«Привет команде „Исигуро“. Привет от Центра управления».

«И вам привет», — говорит Квинн, а остальные подхватывают.

«Как там дела?» — спрашивают они — чистая, абсолютная формальность, ведь мы отсылаем по три доклада в день, когда ничего не происходит, и ежечасные, когда проявляются отклонения — когда, к примеру, умирает Арлен, — но это все для прессы. Людям нравится воображать наше одиночество — это составляющая великого обма-на. Издавна астронавтов создавала фантастика, книги, телевидение, фильмы — а уже потом они становились реальностью, но первый образ человека, вырвавшегося из земных пределов и

устремившегося к звездам, создали эти обманки, и те образы остались в памяти. Астронавт одинок. Он плывет в пространстве, он ищет. Он совершает открытия. А когда все это переменилось — после индийской трагедии, после отмены финансирования государственных космических программ и сокращения НАСА, — это пропало. Наша цель — все вернуть. Оставшиеся дома будут читать мои дневники — передачу в один конец. Мы, как в телевизионном реалити-шоу, не ведаем, что там происходит в телестудии, и притом каждые несколько дней выходим на связь, наши лица сияют улыбками, показывая им, что мы в порядке, счастливы, делаем свое дело, ведем разведку.

«Мы сейчас сделаем вставку с необыкновенными наружными съемками — вы не могли бы пояснить, что мы на них видим?» — Центр распоряжается всеми нашими действиями. Все это прошло предварительный монтаж, снимали мы, но там отобрали самое интересное из выхваченного камерами Пузыря с круговым обзором. Вон там, вдали, это Сатурн. Марс. Это скопление — Туманность Орла, какой она видна нам в мощные телескопы. Пока они показывают эти кадры, команда перестает улыбаться, но не совсем.

«Следующий фрагмент проговорю я — о полной

остановке и подводку к записи с выхода», — говорит Гай. Квинн смотрит удивленно, но не возражает, потому что вовсе не прочь уступить место в центре внимания — ему такие вещи не важны. Я вижу, как Эмми протискивает ладонь им за спины.

Я из Флориды звонил Елене, узнать, благополучно ли добралась. Она рассказала о перелете, что сидела в хвосте, рядом с детьми. Мы с ней заговорили о детях за месяц до того, когда я еще не решил, подавать ли вообще заявку на участие в первом этапе проекта — когда все это было еще на словах, воображаемой идеей, в которую можно бы ввязаться, когда я еще не получил премии, когда все это казалось несбыточным. Мы оба хотели детей и оба не молодели. Всегда договаривались, что я бы сидел с ребенком, растил его, работая на фрилансе, а Елена могла бы сохранить полную ставку редактора и автора в тех журналах, где тогда работала. Она всегда была на окладе, а я на контракте, поэтому так было разумнее. Мы снова коснулись этого, когда я заполнял анкеты и бланки.

«А если я забеременею, — спросила она вроде бы теоретически, но таким тоном, будто знала что-то, чего не знал я, — будто знала, что

перестала принимать свои таблетки, что уже попыталась, не дожидаясь моего согласия. — Ты бы все равно полетел?»

«Это космос, — сказал я. — Будь у нас к тому времени ребенок, остался бы. Если нет, а меня каким-то чудом возьмут, то да. Договорились?»

«Договорились», — сказала она. Потом мы потеряли ребенка, который уже обретал плоть и кровь, рос в ней, пока не был отторгнут, и врачи сказали, что до следующей попытки надо ждать не один месяц, и на этом все. Когда я позвонил ей из Флориды, мне в ее голосе послышалась даже благодарность. Малыши на соседних местах всю дорогу орали, а семья — иностранцы, сказала она, не уточнив страны происхождения, — за ними не прибирали. Меняли подгузники, а грязные запихивали в кармашки сидений перед ее носом. «Так негигиенично, — сказала она. — Просто смешно».

«Зато теперь ты дома».

«Да. — Она оставила эту тему, не спросила, как долетел я. — Кто там еще?»

«Все. Все здесь».

«О, — удивилась она, — а я поняла так, что вас разбили на группы».

«По-моему, так и есть, но каждый день делят

по-разному. Не так строго, как я ожидал. Иногда даже собираемся компаниями и все такое». — Я обещал ей позвонить завтра вечером, рассказать, как дела. Дела были такие: с нас целый день снимали мерки для скафандров, а потом мы оделись в белые латексные костюмы, под которыми просвечивали все части тела, и красивые, и не очень, и встали в коридоре — в гигантской аэродинамической трубе с турбинами, запросто вделанными в пол и прикрытыми сверху решеткой, и нас по трое подхватывало воздушным потоком от турбин, и мы впервые в жизни взлетали. После этого нас оставили в тех же группах — в моей был Гай и женщина-пилот, не прошедшая в окончательный состав: грубоватая деловитая француженка — и загнали в герметично закрытые камеры. Нам велели приготовиться, а потом кругом зарычало, давление упало, и мы с трудом удержались на ногах. Я свалился первым: Гай с той женщиной держались еще десять секунд, а я уже повалился на пол, растянулся, растопырив руки и ноги, и немного ушибся. Когда нас выпустили, я сказал Гаю, что наверняка приговорил себя к списанию.

«Вы оба выжили, а я сдался», — сказал я.

«Бывает, что выжить не главное, — возразил Гай. — Иногда это на последнем месте».

В тот вечер я ужинал с ним, ел с ним жаренного во фритюре цыпленка, и мы обсуждали остальных. У него были свои соображения об их шансах, он оценивал всех издалека. Догадывался, что Квинна возьмут. «Он красавчик, будет хорош на телеэкране и обалденно знает свое дело». Насчет Арлена он не угадал, списал его как «деревенщину» и насчет Ванды сомневался. «А вот Эмми, — сказал он (мы все к тому времени знали ее по имени), — она определенно пробьется. Я к тому, что кто бы не мечтал оказаться с ней на одном корабле? — У Гая были другие вкусы, он имел в виду не сексуальность, а ее энергию, силу личности. — Когда на пару месяцев застрянешь в пустоте, хорошо, чтобы с тобой были люди, в которых что-то есть, понимаешь?»

«А я, по-твоему, пробьюсь?»

Он на мой вопрос фыркнул. «Возможно, вероятно, наверняка. Все остальные журналисты — такие сухари. В тебе одном есть капелька жизни». После ужина мы выпили все вместе. Кое-кто отправился спать, потому что дни испытаний выдавались трудными, но правила нам не запрещали. Нам советовали расслабиться, мы и расслаблялись. Я позвонил Елене от дверей гостиничного бара, рассказал, как прошел день.

«Похоже, ты там не скучаешь», — сердито сказала она, будто откусывая слова. Забавно: иногда, в напряженные моменты, у нее словно бы прорезался акцент, намек на греческий, как у ее матери. Она никогда там не жила, ничего такого — только акцент.

«Это точно, — сказал я ей. — А ты как?»

«Здесь все по-прежнему, — сказала она. — Тот же старый Лондон».

«Я скоро вернусь. Встретишь меня в Нью-Йорке?»

«Сколько ты думаешь пробыть в Нью-Йорке?» — Вопрос был с подтекстом, на такие не бывает правильных ответов. Во всяком случае, честных правильных ответов.

«Несколько недель».

«Я подумаю», — сказала она.

Когда я вернулся в бар, Эмми из бутылки черной самбуки, которую американцы вряд ли пробовали, разливала по рюмкам густой, темный и пахучий напиток.

«Ты эту дрянь пивал и раньше, — сказала она. — Точно знаю».

Она поманила меня к себе, вручила рюмку, и на счет «три» мы выпили — сперва мы с Эмми, потом почти все, кто с нами готовился. К ночи,

когда бар закрыли и пришлось расходиться по постелям, потому что вокруг отеля ничего не было, он строился для конференций, а не для городка, Эмми спросила, не хочу ли я зайти к ней и продолжить попойку.

«У меня там мини-бар, и я найду ему применение», — сказала она.

«Не могу», — сказал я. Хотел сказать: «У меня Елена», но не сказал. Эту часть фразы проглотил.

«Конечно, — кивнула она, — трудный день и все такое. Может, в другой раз. — Она взяла меня за руку, пожала. — Я уже даже не переживаю, попаду ли на корабль, все равно был такой трип!» Я, лежа в постели и пытаясь заснуть, только и думал, как мало она похожа на врача — скорее, на друга, на любовницу, на мечту.

Я наблюдаю за собой: с видеокамерой, чисто выбритый, без шрамов и боли, выспавшийся и даже не догадывающийся, что я на него смотрю, он занимает место за столом, пристегивается и слушает, как беседует за едой экипаж. Он всегда умел слушать. Его расспрашивают обо мне, о моем прошлом.

«Ну, ты не из разговорчивых, — говорит Гай. — У нас все выспрашиваешь, а о тебе мы почти ничего не знаем». Он знает про Елену, и чем я за-

нимаюсь, и откуда я. По-моему, этого достаточно. Тот я отшучивается.

«Ты знаешь, как я к тебе отношусь», — игриво говорит тот я, и за столом все смеются.

«Ладно, но надо бы и у тебя взять интервью, верно? — Он отламывает от своего батончика, забрасывает кусочки в рот, жует, не закрывая рта, говорит с набитым ртом. — В смысле, ты из нашей команды, и тебя тоже надо увековечить, так? — Я молчу. — Значит, после ужина снимаем тебя». — Он усмехается — у него такая улыбка, что еда во рту не мешает, и я вижу крошки у него на губах.

После еды он, верный слову, отбирает у меня камеру.

«Как она работает?»

«Для новой записи нажми вот эту кнопку, — показываю я. — А вот здесь наводится на резкость».

«Разве не автоматически?»

«Автоматически тоже, но если понадобится».

Он даже не прикасается к кнопке фокусировки и зума. Наводит и снимает. Он не о фильме думает.

«Расскажи нам немного о себе, — говорит он. Остальные остались за столом, не отстегиваются, смотрят. И ничего не говорят, даже не реагируют.

Предоставили все Гаю. — Где ты рос?»

«В Лондоне, — отвечаю я. — В Западном Илинге».

«Родители?»

«Гарет и Эрика. Учителя. Умерли».

«Женат». — Вроде бы утверждение, но в голосе вопрос — прощупывает. Это я помню. Помню, тут он меня взбесил: что-то знает и таким способом дает мне понять. Эмми хлопает его по плечу.

«Хватит вопросов, Гай».

«И с меня хватит, — говорю я. — Я каждый день веду этот чертов дневник для веб-сайта, там обо мне знают более чем достаточно».

Гай со смешком опускает камеру.

«Ладно», — говорит он. И выходит, возвращается в машинное отделение. Ванда встает из-за стола.

«Я с ним поговорю, — обещает она. — Просто ему здесь все опостылело. Нам говорили, что это всех зацепит, да?»

И это я запомнил. Помню, как, убирая камеру, гадал, почему Эмми на меня не смотрит. Я перегнулся, ловя ее взгляд, но она разглядывала собственные ладони, пряжку ремня, стол — лишь бы не смотреть на меня.

Я подогнал ремни своего костюма, чтобы служи-

ли креплениями на подкладке — эти крепления не предназначены для меня, но их можно перестроить по-новому. Приходится немного убирать длину, так что они натягиваются, зато теперь я могу хотя бы сесть — все еще пристегнут, но и не совсем летаю. Я принимаю таблетку, потому что вспомнил, что несколько часов не принимал, прижимаюсь спиной к стене и пытаюсь заснуть, хотя экипаж еще не лег: сквозь решетку сочится свет, я мог бы выглянуть, если бы не так устал, и мне слышно, как Квинн напевает песенку двадцатилетней давности, я ее почти забыл, а он помнит все слова. Я снова засучиваю штанину, осматриваю ногу, но на ней никаких следов, никаких отметин. Я щупаю ногу, скребу ногтем, но от таблеток весь онемел и ничего не чувствую.

Мне надо бы спать, а я не могу. Закрыв глаза, вижу просочившийся свет, слышу голос Квинна даже тогда, когда все они должны были улечься, — все та же песня, одиночная строфа снова и снова прокатывает над моей головой — не то чтобы рефрен, а скорее волна слов, смывающая все, что могло бы прийти в голову. Я пробую отсчитывать задом наперед от ста, дыша в такт, как учила Елена, когда мне не спалось: дышать синхронно счету, — но от этого только снова вспоминаю о

ней. А когда я думаю о ней, уснуть нечего и думать. Я закрываю глаза, сопротивляюсь, пытаюсь двинуться дальше, забыть, нырнуть в безмыслие и сон, который мне так нужен.

— Почему я не говорю им, что я здесь? — спрашиваю я в темноту. — Почему молчу?

Я принимаю еще болеутоляющего и закрываю глаза, но все вижу самого себя, сражающегося с бессонницей.

— Почему я сюда вернулся? — спрашиваю я. Никто меня не слышит, здесь только я, темнота, подкладка, а за стеной команда — они все спят, даже я, которому сон не нужен. А потом я засыпаю, но всего на несколько минут, и знаю, что через несколько минут снова проснусь и стану ломать голову.

4

Визжит Эмми. Это меня и будит. Я не уверен, наяву она визжит или нет: или она визжит, потому что меня нашли там, где меня быть не должно, или это продолжается сон. Реакция команды мне ни о чем не говорит. Они всполошились, паникуют.

«Нет, господи, ну и кошмар приснился!» — выдыхает она со смехом и просит кого-то дать ей воды. Психиатры нам говорили, что кошмары — обычное дело для людей в нашем положении: взаперти, выйти некуда, и такие жестокие, экстремальные обстоятельства приводят к дезориентации и, возможно, ночным кошмарам. У Эмми такое случилось однажды, на какой-то день, и вот сейчас настало это «однажды». Я его помню. Я отстегиваюсь от пола и ползу к стене кабины, где вижу, как мы с Квинном над ней хлопочем, успокаиваем. Я удивляюсь на себя, своей твердости. Не замечал за собой. Гай подает ей фляжку с водой, Квинн склоняется к ней, в шутку просит сказать «А-а», а я просто стою за его спиной и наблюдаю. Этого тоже не замечал. Я спокойней, чем мне запомнилось.

Эмми рассказывает нам свой кошмар:

«Я застряла в койке. Вроде как открыла глаза, проснулась и хотела встать, а не могла, тогда хотела застучать в дверь, но поняла, что ни шевельнуться не могу, ничего, вот и запаниковала, потому что подумалось: „Господи боже, а если и дышать не смогу“, хотя это же бред, да? Дышать-то я могла, но все равно. Я подумала: попробую закричать, посмотрим, что выйдет, и завизжала, и вы открыли койку и меня вытащили. — Она улыбается, мне по голосу слышно. — То есть не знаю с чего я и впрямь решила, что совсем пропала». Подходит Ванда, гладит Эмми по плечу.

«Ничего с тобой не случится, — говорит она, — все хорошо».

Я вспоминаю, что Ванде осталось всего два дня.

В том космическом лагере Ванда держалась надменно, особняком. Почти ни с кем не общалась — уж очень была сосредоточена, думала все об одном. Она, я думаю, была там моложе всех на несколько лет — только из университета, и, по-моему, всем видом показывала, что сама не знает, как сюда попала. Мы — то есть все, с кем я ужинал, с кем проходил тренировки, — понемножку, по крохам вытягивали из нее кое-что

о себе. Родители не так долго прожили в США, только с ее рождения. Мать работала в ресторане, отец в магазине электроники, потом он умер, а мать решила вернуться в Корею. Мы догадывались, что мать не позвала ее с собой, и она подписалась хоть куда, лишь бы отвлечься. У нее была степень по воздухоплаванию, и она не ждала, что ее отберут на подготовку, а тем более в саму экспедицию.

«Для меня, — говорила она мне, пока мы ожидали медосмотра после тренировки в барокамере, — для меня это потрясающий опыт. Сама возможность написать в резюме, что я здесь была, что меня сюда взяли, может открыть двери к чему-то великому». Кое-кто — не помню кто, они в финал не прошли — думал, что она и не хочет попасть в окончательную команду, что настолько далека от этой мысли, что она и роли не играет. Каждое испытание могло отрезать для нее возможность высоко держать голову. Она проходила медицинскую проверку до меня, и я наблюдал разговор в окно кабинета. Она сидела на стуле перед медиками, улыбалась и смеялась шуткам, застенчиво и смущенно выслушивала вопросы (я потом узнал, что они касались мочевого пузыря и работы кишечника), а потом встала

для осмотра — тут они задернули занавески, но я знал, что за ними происходит. Кабинет был звукоизолирован, но выглядела она довольной, совершенно счастливой. Когда вышла, я спросил ее, как прошло.

«Ох, знаешь, если можно завалить экзамен, где нет неправильных ответов, уверена, что мне это сейчас удалось». — Она сказала это без улыбки, сбросила с себя прежний лоск. Я ни разу не спросил, хочет ли она лететь: наблюдая за тем, как она себя ведет (и со мной, и с врачами, которые заглянули в свои машинки и сказали, что она годится), я понял, что хочет не меньше других.

Я следую за Вандой по кораблю. Мы все за спиной звали ее Юнгой, но не в лицо. Нам казалось — мне казалось, — что это ласковая, безобидная кличка, что Ванда поддерживает шутку, но мы ошибались. Я слежу, как она прибирает, проводит базовую диагностику, на которую не находится времени у Квинна. Я слежу, как она помогает Гаю в Пузыре, проверяет, сняты ли и занесены ли в журналы показания телескопов и камер, готовы ли к отправке домой. Я наблюдаю, как она исполняет все, чем неохота заниматься другим, а никто ей спасибо не скажет. Она уходит в пустую раздевалку и плачет, тихонько всхлипывает себе

в ладони, как кинозвезда пятидесятых годов, как сворачивается в комочек, в позу зародыша. Что самое приятное в невесомости — это возможность заниматься воздушной акробатикой. Она медленно разворачивается — непроизвольно, не переставая плакать. Никто ее не слышит.

Она возвращается к своим обязанностям, а я слежу за ней по всему кораблю. В главной каюте она готовит еду, пока Эмми с Квинном чему-то смеются, а я печатаю на компьютере.

Квинн склоняется над каютной панелью, постукивает пальцем по экрану.

«Это что за сообщение?» — спрашивает он, и Гай тоже наклоняется посмотреть.

«Это пустое, — говорит Гай. Хотелось бы знать, не о том ли числе они говорят, что я видел перед смертью. Может, о том самом. Может, я разгадаю эту загадку. — Это просто новые данные по одному моему эксперименту».

Он снова отходит к Пузырю. Экран мне не виден — если на нем то число, я теперь уже не узнаю.

Ванда разогревает еду — батончики со вкусом курятины из фастфуда, — и раскладывает на столе вместе с хрусткими белыми мешочками кока-колы.

«Ужин готов», — говорит она. Мы пристегива-

емся и едим. Я сажусь к остальным, разворачиваю свой батончик — однородная плитка из заморозки вкусом немного напоминает сосиски с картошкой, — и никто не заводит настоящего разговора, пока Квинн не напоминает Эмми о ночном сновидении.

«Надеюсь, сегодня ты нас не перебудишь», — говорит он. Она пихает его в плечо.

«Я же не нарочно».

Я их снимаю — в мою программу входит съемка сценок, где все выглядят друзьями, чтобы показать, как мы хорошо ладим между собой, как увлекательна эта экспедиция, — а на притихшую Ванду не обращаю внимания. А теперь я наблюдаю за ней и все вижу.

Ванде выходить наружу через двадцать четыре часа. Полный стоп назначен на утро, и тогда же будет трансляция домой — наша первая с силой тяжести, — а потом Ванда наденет скафандр и отправится в темноту, оставив нас завтракать, и погибнет. Я наблюдаю за ней наяву, она не знает, что смотрю, как она дает интервью под запись — разговор ни о чем, болтовня, ежедневные записи рутинной работы. Тот я, что берет интервью, ничего не замечает, не задает ни одного вопроса, который мог бы действительно что-то о ней

рассказать, помочь ей пройти тот ад, в котором она жила. А он вместо того интересуется, как статистика способствует эффективности корабля, сколько расходуется кислорода и как измеряется расход. Я помню, как просматривал те интервью после ее смерти и думал, какая она была скучная, как ей нечего было сказать. Задним числом.

Вот как она проводит свой последний день. Я не даю сомкнуться слипающимся векам, хоть и знаю, что все равно не усну, и принимаю еще болеутоляющего, потому что боли нет или она чуть покусывает, вроде памяти о боли, и мне хочется, чтобы так оно и оставалось, пусть даже это все больше меня выматывает. Я наблюдаю за всем, что она делает, ведь надо же кому-то наблюдать. Кто-то должен смотреть, как она прожила последний день, чем занималась. Только она ничем не занимается. Делает проверку, снимается, держится на заднем плане, как-то еще незаметнее, чем мне помнится.

Под конец дня она заговаривает с Гаем — отлавливает в коридоре и уводит в кладовую.

«Мне надо с тобой поговорить», — говорит она.

«Давай, — отвечает он. — Что стряслось?» — Он старается говорить по-свойски, но совсем не умеет. Получается отрывисто и сердито, он ведь

очень занят.

«Мне тяжело», — говорит она. Похоже, ей нужно поплакать у кого-то на плече, но Гай плеча не подставляет.

«Слушай, — говорит он, — иди ты к черту. Ты знала, на что идешь. Хотела быть первооткрывательницей, вписать свое имя в историю, не то не подписалась бы на это дело. Так теперь держись и делай свою работу, договорились?»

Он оставляет ее в кладовой, в темноте. Я подумываю вылезти и сказать ей, что я здесь, обнять ее — по-моему, ей только это и нужно. Вместо этого я за подкладкой пережидаю ее плач, и она возвращается в каюту и делает вид, будто все нормально.

Ванда последней вошла в комнату, где нам сообщали, кто попал в команду. Я пришел третьим, после Арлена с Гаем, и, зная, что оба показали хорошие результаты, обрадовался. Я рад был увидеть Эмми и Квинна, а потом вошла Ванда, а ее никто из нас толком не знал. Я заново представился, потому что не знал, запомнила ли она мое имя.

«У меня ужасно плохо с именами», — сказала она тогда, извиняя меня, предугадывая все, что я мог бы сказать.

«Да, нам не случилось с тобой толком поговорить», — сказал Арлен. И тоже представился и представил остальных. Гая она знала — они обменялись рукопожатием и улыбками.

«Так ты будешь при мне юнгой, — сказал Гай, и оттуда пошла эта кличка. — Корабль сам себя не приберет, скажу я тебе». Он шутил и не шутил. У всех остальных был опыт, были причины лететь. Ванда была в некотором роде аномалией. Нашлись бы другие на ее место, куда более подходящие: когда Гай отвел Ванду в сторонку, чтобы рассказать об их ежедневных обязанностях, остальные наши засомневались в этом выборе.

«Мы с ней даже не общались, — сказала Эмми. — Неизвестно, как мы с ней поладим, ничего не известно».

«Должно быть, она лучше всего подходит для этой работы, — сказал Арлен. — Ничем другим не объяснить».

Я слушаю, как команда расходится по койкам, по обыкновению желает друг другу спокойной ночи — как будут желать и впредь, пока остается кому, пока не останемся только я и Эмми, Эмми и я, один. Они желают друг другу спокойной ночи, и закрываются в койках, и засыпают. Я слышу, как Ванда последней говорит «Доброй ночи»,

и думаю, как мне за нее грустно — как мало ей осталось.

«Не хочу видеть, как это случится, — говорю я себе, лежа за подкладкой и пытаясь уснуть. — Надо попытаться ее спасти». Если я здесь не просто так, если это не просто случайность, не совпадение, если у Вселенной (ха!) были причины меня сюда вернуть — может, это ради спасения Ванды?

Я часами слушаю воздух, пока не становится совершенно тихо. Ни звука, кроме гудения двигателей и постанывающей, бормочущей во сне Эмми. Я проползаю обратно к складу, откидываю панель и снова выплываю в корабль. Ванда погибнет в пространстве, ее скафандр порван, неисправен, где-то должна быть дыра. Тут не будет, говорю я себе, как с Арленом, когда причиной стал я. Ванду я спасу. Я изменю случившееся к лучшему.

Я добираюсь до раздевалки и осматриваю скафандры, выбирая тот, на котором значится ее имя. Не знаю, что вызвало разрыв, так что действую осторожно, бережно. На каждом скафандре имеется табло диагностики: я включаю его, посмотреть, что оно скажет, не найду ли я разрыва, но повреждений нет. Тогда я проверяю шлемы,

все подряд, потому что они универсальные, один размер на всех. Ни в одном ни трещины, ни утечки. Я обвожу пальцами клапаны — бережно, пытаясь что-нибудь нащупать, но ничего там нет… ничего. Все в порядке, в полном порядке, и я ничего не натворил, так что она не должна погибнуть. Может, только и надо было провести диагностику, чтобы все было хорошо, может, я уже изменил будущее.

Я подтягиваюсь по коридору в сторону кладовой и тут слышу ее плач. Я вижу ее зависшей в углу, снова закрывшей лицо руками и тихонько всхлипывающей. Она прямо перед той панелью, через которую я вылезал — она единственная не закреплена в стене. И я решаюсь на немыслимое.

— Ванда, — зову я. Она первая, с кем я заговариваю за целую вечность, я много-много дней не пользовался голосом. Она на меня не смотрит — вытирает лицо ладонями. Я не показываюсь, ей меня не видно, я укрыт темнотой. Если она увидит меня таким, увидит шрамы, отросшие волосы, косматую бороду длиннее, чем у меня из каюты, безумный взгляд, от которого мне наверняка не избавиться… увидев все это, она сразу поймет: что-то не так. Она не в себе, но не дура.

— Кормак, — говорит она. Так странно слышать свое имя и слышать, что оно обращено ко мне, а не к другому я. — Я думала, ты спишь. — Она на меня не смотрит, не хочет показывать мне заплаканных глаз. — Я не хотела тебя будить. Просто решила посмотреть корабль вот таким, когда все тихо.

— Это ничего, — говорю я. — Ты плакала.

— Скучаю по дому, — говорит она и лжет, потому что я знаю, что все не так просто.

— Хочешь, поговорим? — спрашиваю я.

— Нет, — говорит она, — все хорошо. Правда.

— Мне ты можешь сказать, — говорю я.

— Нет, — отвечает она, — не могу.

— Все с тобой будет хорошо, — говорю я, желая утешить ее и себя.

— Тебе надо спать, — говорит она, желая от меня отделаться. — Завтра большой день. Ты собираешься выходить?

Я и забыл: у меня ведь был шанс тоже выйти, когда она закончит с диагностикой. Я забыл, что ее смерть среди прочего стала разочарованием, эгоистическим разочарованием.

— Доброй ночи, — говорю я и отталкиваюсь назад от нее, в сторону каюты. Там, где ей не видно, я ныряю в один из складов горючего и

жду, пока она пройдет, задвинет за собой дверь, возвращаясь в койку. Тот я, за которого она меня приняла, уже там; тот я, который на самом деле с ней говорил, бросается к отверстию в стене, открывает его и забирается внутрь. Глаза у меня уже привыкли к темноте, а уснуть надежды нет. Я принимаю еще таблетку от боли, пробираюсь к раздевалке и слежу за скафандрами, чтобы знать, что с ними ничего не случится.

Экипаж просыпается в то же время — по будильнику. Гай велит всем закрепиться, все повинуются, и тогда он нажимает кнопку, и корабль, как в прошлый раз, прекращает двигаться, вернее, движется только по инерции, а она, говорили нам на тренировках, в космосе может далеко завести. Нечему вас оттолкнуть, остановить, вы будете двигаться вперед, как автомобиль без тормозов катит под гору. Устанавливается гравитация, и я оседаю на пол. Я упражнялся меньше, чем в тот раз, мне тяжелее, намного тяжелее, потому что ноги далеко не так сильны, и нога, чтоб там с ней ни было, даже с болеутоляющим не та, что прежде, хотя и не так плоха, как мне помнится. Команда собирается у стола, приветствует Землю, все ухмыляются, и улыбаются, и делятся последними событиями, и

показывают, как мы довольны и счастливы и все идет по плану. Потом все возвращаются к своим делам, а Ванда дрожит в сторонке, испытывая ноги, и прислоняется к столу.

«Ванда, пора», — говорит спустя несколько минут Гай. Она не отвечает, но выходит из каюты. Я за стеной тащусь за ней следом — она первым делом направляется в ванную, моет лицо и руки, плещет водой на щеки и трет их (Гай на тренировках так советовал. «Это механизм выживания, — объяснял он нам на вопросы, зачем он так делает; это было на последнем этапе подготовки, когда нас на модифицированном реактивном самолете поднимали в стратосферу. — У нас, людей, это встроенная функция — вода в лицо нас будит, дает всплеск адреналина. Так эволюция предохраняет нас от утопления». Он говорил, что всегда плещет водой в лицо, чтобы в голове прояснилось.) Дальше она раздевается до белья — топа и трусиков, — проходит в раздевалку и надевает скафандр. Это тот самый, что я проверял ночью, я проверял, и он был в порядке. Она не спешит, все делает по инструкции и потом, натянув его и застегнувшись, берет, надевает и пристегивает шлем. Входит Гай, тоже все на ней проверяет. Спрашивает: «Готова?» — она кивает.

Он проверяет у нее кислород, клапаны и кладет руку ей на плечо. Спрашивает: «Тебе лучше?» — и она кивает.

«Намного», — говорит она, хотя мне под шлемом ее еле слышно. Она берет страховочный конец, пристегивает его к спине, и еще запасной на случай аварии.

«Умница. Скоро увидимся». — Гай пятится к двери, закрывает за собой и запускает откачку шлюза. Он машет ей в окошко, вроде как честь отдает. Она не отвечает — вдруг взмахивает чем-то острым, блестящим, всаживает в клапан между воротником и шлемом, там, где тонкая резиновая прокладка, а люк за ней открывается, и она запрокидывается назад, как ныряльщица с доски. Она не корчится, не извивается — все грациозно, почти мирно. Гай не кричит — остальные ничего не слышат, — но лицо у него вытягивается — это он понял, что она натворила. Решение написано у него на лице — решение сохранить случившееся в тайне. Ему видно то, чего не видно мне, мне не видно ничего за бортом, но я помню, какой она вернулась — лопнувшей, раздутой. Никто не знал, что Гай видел, как это случилось, — он слова не сказал.

Я жду и слушаю, как все разыгрывается по вто-

рому разу: Гай сообщает команде, что что-то не в порядке, что он возвращает Ванду — и называет ее Вандой, а не Юнгой, хотя она уже не услышит, как он зовет ее кличкой, которую сам ей навязал, — а Эмми бросается к ней, срывает шлем, как только шлюз, закачавшись атмосферой, впускает ее за дверь. Она щупает пульс, но пульса нет, и тогда она давит ей на грудь, а Квинн бросается за аппаратурой, но Эмми кричит, что не надо, Ванду не вернуть, надежды нет. Мы все замираем, склонив головы, потому что она вторая погибшая, и это трагедия, и никто не знает, что это означает для нас — для экспедиции и для каждого в отдельности. Гай наступает ногой на то, что было у нее в руке, и, улучив секунду, подбирает с пола, прячет в карман.

«Надо ее перенести», — говорит Эмми, и мы беремся — я, Квинн и Гай шаркаем с ней на руках по коридору, стараясь не уронить и не расплескать кровь, собирающуюся в складках скафандра. Мы кладем тело на стол, а Эмми становится в ногах и вздыхает.

«Не знаю, что делать, — говорит она. — Может, надо произвести вскрытие, узнать, в чем дело».

«Клапан, — говорит Гай. — Что-то испортилось, не проверили как следует. Вот что бывает от течи

в скафандре, вот как от этого умирают».

«Положите ее в койку, — говорит Квинн. — Я свяжусь с Центром управления, посмотрим, что они скажут. — Он по очереди оглядывает нас. — Это уже слишком, да?»

Мы с Гаем снова поднимаем тело Ванды, после того как Эмми салфетками промокнула кровь на скафандре и стерла с шеи и лица. Вокруг глаз осталась, и мы укладываем ее в койке, запечатываем как можно надежнее, вводим ее в стазис.

«Она расходует энергию», — беспомощно говорит Гай. Он не жалуется, просто констатирует факт. Мы слушаем, как Квинн выходит на связь, а потом вытираем стол, пока он исполняет протокол безопасности. Пока он заканчивает, мы уже все расселись и ждем приказа вернуться домой, но Гай знает, что они скажут.

«Эта экспедиция слишком много значит, — говорит Гай. Эмми спорит, Квинн спорит, я не ввязываюсь. — Мы так далеко зашли, — говорит он, — и это важно». Я теперь, из подкладки, ему не верю.

«Ванда не должна была так погибнуть, — говорит он, — но миссия на первом месте».

«Пошел ты», — бросает Квинн и передает нам, что Центр приказал оставаться на месте в ожи-

дании официального ответа. Он разрывает связь, и все молчат.

Эмми говорит, что ей нужно подышать воздухом — не в буквальном смысле, — и уходит в корму, к кладовым. Квинн идет за ней, а Гай фыркает.

«Они трахаются, — говорит он мне, оставшемуся с ним в каюте. — Точно тебе говорю». Я вижу, что я его не слушаю, потому что не знаю, хочу ли знать.

«Оставишь меня с ней на две минуты? Хочу попрощаться».

Я киваю, беру с подставки на столе камеру и выхожу. Я помню: я прошел в шлюз и стал снимать — вдруг превратился в любителя, воображающего, что многозначительные кадры помещения — холодного, пустого во всех смыслах, не считая валяющихся на полу шлангов и страховочных тросов, — могут оказаться хорошим эпизодом в истории полета. Сейчас, здесь, я наблюдаю за Гаем. Он останавливается перед койкой Ванды, сжимает кулаки, скрипит зубами. Я опасаюсь, что он станет колотить по стеклу, но нет. Он трясет койку и не сводит с нее глаз. Он пытается отдышаться, но дышать ему трудно, он хватает воздух мелкими частыми глотками. Тихо бра-

нится, и трясет, и тянет дверцу ее койки. Рука его подползает к задвижке, но не открывает. Он не плачет. Он не буйствует. Просто мрачно смотрит в ее закрытые глаза.

Оживает сигнал вызова, и мы собираемся в каюте.

«Продолжайте движение, — говорят из Центра. — Мисс Хан — Ванда — будет погребена со всеми почестями после вашего возвращения. Сейчас просим продолжать выполнение задания».

Это не просьба, а приказ. Гай подходит и нажимает кнопку, остальные не смотрят на него — мы всплываем над полом, корабль снова приходит в движение.

Мне по телефону сообщили, что я прошел в последний отборочный этап, на отбор из избранных, и одну ночь могу провести дома — после Рождества. Семья была с нами, потому что родители Елены вернулись в Грецию, а нам не по карману было их навестить, так что у нас жила ее сестра, и мою мать тоже пригласили (в последний раз, только мы тогда не знали), и еще несколько двоюродных, живших в Лондоне, с которыми я никогда не встречался. Я зажарил гуся, потому что индейку из нас никто не любил, а мама с Еленой разделили между собой овощи,

каждая устроилась на своей половине со своим ножом и доской.

«Мои девочки!» — окликнул я их, разрываясь между разделкой мяса, замешиванием фаршировки, поливкой соусом, чтобы кожица стала хрустящей и потрескалась. Они не засмеялись, потому что друг с другом не слишком ладили: мать у меня была типичной «главой семейства», а Елена требовала куда больше внимания, чем готова была уделить ей моя мать, так что вот — но мы старались, и Рождество вышло счастливым. Мы поели, посмотрели телевизор, а потом легли спать. И вот на следующее утро, еще в темноте, зазвонил телефон. В спальне у нас телефона не было, так что мне пришлось сбежать вниз, потому что в кабинете спала сестра Елены, и я слушал сообщение УПИ в коридоре, в одних подштанниках.

«С Рождеством, мистер Истон, — сказали они. — Мы рады уведомить вас…» До меня не сразу дошло. Я вернулся в постель, лег рядом с Еленой, обнял ее и тихонько покачивал в надежде, что она проснется, не понимая, что это я разбудил, а потом я снова задремал, совсем чуть-чуть, но разбудила меня Елена, когда через пару часов стала вставать в постели.

«Выспался?» — Она увидела что-то по лицу, я думаю.

«Я вошел», — сказал я.

«Вошел?» — Она решила, что я так шучу, она привыкла к моим вульгарным шуточкам и ожидала их от меня.

«В космический экипаж. Меня взяли в команду».

Она сделала вид, что рада за меня, обняла, сказала, что мной гордится, и мы спустились вниз, где моя мать уже приготовила завтрак. («Чтоб меня не допустить, — сказала мне потом Елена, — чтобы поставить на место, показать, кто тут главный. Черт, терпеть не могу, когда она так себя ведет».)

Мы не разговаривали, пока не расселись, а потом я им сказал:

«Все тут пожелают мне удачи, я думаю».

«Что такое?» — вскинулась моя мать, тут же проникшись подозрениями.

«Он летит в космос», — сказала Елена, бросаясь под выстрел. Она сжала мне плечо, как бы от гордости за меня, и все за столом заворковали. Про подготовку никто из них не знал: десять месяцев прошло — десять месяцев я получал меньше заданий, меньше писал, потому что за-

нимался анкетами, сбором документов, десять месяцев слегка морочил всех подряд, объясняя, что работаю над большой статьей, хотя до статьи еще было далеко — на самом-то деле. Все стали расспрашивать, что мне разрешено рассказать, куда я отправляюсь, когда отправлюсь, почему об этом еще не объявляли, а я сказал, что сегодня объявят, а подробностей я сам еще не знаю. Днем мы сидели в гостиной, смотрели телевизор, и об этом объявили в новостях по прямой трансляции — прямо с утра в Нью-Йорке состоялась пресс-конференция, ее транслировали по всему миру. Наших имен не называли — по поводу команды предполагалась еще одна пресс-конференция в Нью-Йорке, там назовут тех, кому предстоит приступить к суровым тренировкам, — но сообщили, что экспедиция финансируется частными лицами со всего мира, лучшие умы всех стран сотрудничали в стремлении объединить человечество. Нам предстояло зайти туда, где еще не бывал человек, — в этом была главная суть. Телескопы, зонды, спутники многое могут увидеть — как моряк, стоящий на берегу и вглядывающийся в исчезающий горизонт, видящий вдали размытые мазки новых земель и гадающий, что там, — а потом моряк туда плывет. В гостиной

сестра Елены попросила меня объяснить.

«Люди всегда отправлялись посмотреть, что там есть, просто потому, что могли. Корабли у них были, знание, что там что-то есть, было, вот они и плыли. И это вдохновляло других, заставляло других поступать так же, и это вело к открытию, заселению новых земель. Конечно, мы открывали моря, и Арктику, и горные вершины, а потом добрались до Луны и решили: что же? На этом все? Да ни за что! Все потому, что мы люди, и ради того, что мы там найдем. Может быть, ничего, но узнать стоит, верно?» Я им не рассказывал о предстоящих экспериментах — что были и научные резоны, что это не пустая трата денег, даже если кто-то стал бы возражать против растраты частных денег, от которой им никакого вреда не будет, — потому что по этой части я ничего не понимал. Нам предстояло отправиться вовне и нанести что-то на карту — что-то, во что вложился Гай, он говорил, для него это дело всей жизни, — а потом вернуться, и эти результаты должны были позволить человечеству найти темную материю, определить ее место во Вселенной. Я этого не касался, потому что это было несущественно, нерелевантно — открытие, которое никому ничего не скажет. Предстоящее нам путешествие

должно вдохновлять — и этого достаточно.

Елена делала вид, что гордится, но ее это раздавило.

«Ты правда хочешь лететь?» — спросила она в тот вечер, когда мы легли.

«Должен, — сказал я ей. — Даже если это будет последнее, что я сделаю, все равно я оставлю свой след». Она сразу заснула, отвернувшись от меня, а я взял ноутбук и стал писать.

Космос существует, чтобы давать нам смысл жизни. Мы по природе своей первооткрыватели. Это у нас в крови. Мы возвращаемся во времена, когда не существовало карт и мы разведывали все что могли в поисках лучшего: лучших земель, лучшей пищи, лучшего убежища. Эта линия ведет к кочевникам, к викингам, к римлянам — мы открываем все. Мы открыли Америку и узнали, что она уже открыта; мы обошли весь земной шар и составили карты, показавшие, что нет края, за который можно упасть, нет обрезанного тупым ножом горизонта. Мы отправились на Луну, чтобы доказать, что мы это можем, и достигли ее, как только сумели. Мы взглянули с нее на себя и увидели, что мы именно таковы, как думали: народ, тянущийся за пределы, растягивающий сам себя. Мы открываем и растягиваем свои возможности.

Это в нашей природе. Мы принимаем стероиды, чтобы накачать себе тела; мы создаем технику, чтобы стать сильнее. К космосу мы потянулись раньше, чем были готовы. Индийская экспедиция закончилась катастрофой, потому что они были не готовы. Они едва ли превзошли технологию семидесятых, а вообразили, что ее хватит, чтобы быстрее долететь до Луны, остаться на ней дольше, облететь ее по орбите, чтобы показать себя и вернуться. Они ошиблись и поплатились за ошибку. Мы смотрели на них — мы, остальной мир — и понимали, что они ошибаются. Я помню разговоры о них на следующий день в школе и как все были опустошены, но мы с этим справились. А эта экспедиция — прелюдия, пробный шаг, испытательный полет. Мы — те первые люди на плотах, что искали, не зная, есть ли что искать; мы — морские свинки под видом искателей.

Елена пошевелилась, спросила, что я пишу. Я ответил, что письмо, и она, должно быть, снова уснула. Уснула, потому что не было у нее причин подозревать меня во лжи. Я никогда раньше ей не лгал.

5

То, что сошло за похороны Ванды, — трагедия. Что-то говорит Эмми, потому что мы коллективно решили, что та ее лучше всех знала, и еще потому, что она женщина и де-факто ее лучшая подруга. С Арленом мы утопали в общих фразах, прощаниях и добрых воспоминаниях, потому что он воплощал отцовскую фигуру — бородатый шутник, которого все мы уважали, все смотрели на него снизу вверх. Ванда — дело другое: тихоня, девочка с задней парты, одиночка. Закончив короткую речь — в сущности, повторение того, что Ванда сама нам рассказала про свою семью и чего она ждала от этого полета, — Эмми спрашивает, не хочет ли кто еще что-то сказать. Мы засняли хвалебный некролог Арлену, решив, что его родным будет приятно это увидеть, а с Вандой не потрудились, опасаясь показаться бесчувственными или равнодушными. Эмми умоляюще смотрит на меня, кивает мне, показывая, что мне надо бы сказать, но тот я, что в каюте, ничего не подозревает, не знает, что сделала Ванда и почему она это сделала, не знает, как ей было больно, как одиноко, какой она была потерянной. Я ей

сочувствую; жаль, что не сумел ей сказать: «Я понимаю твою боль, потому что я здесь так же одинок. Я так же запутался, тоже попал в ловушку, только мне даже поговорить не с кем. У меня осталась подкладка, и темнота, и непонимание, ужасное, кровоточащее непонимание, где я и что я, и я знаю, что будет, когда вы все один за другим умрете и я останусь один, пока все не кончится второй раз, и я буду смотреть все как в замедленной записи, из-за занавеса, о котором никто даже не подозревает». Тот я ничего не говорит, так что Эмми снова спрашивает, не хочет ли кто. Гай выступает вперед.

«Она погибла как первооткрывательница, — говорит он. — Вдохновляюще, так? Когда на связи с домом нас будут спрашивать, когда станем рассказывать, что произошло, мы все скажем, что она была абсолютно, охренеть как вдохновляющей».

Один Гай — а теперь еще я — знаем, что он лжет, что на самом деле она была просто перепуганной девочкой и думала о себе, что сгорела, как все мы.

Когда подходит время связи с центром — обращения, которое разошлют вокруг всего земного шара, — мы обсуждаем вторую смерть в команде.

Сидим у стола, пристегнувшись, и склоняем головы, и объясняем, что это был рутинный выход, каких много по графику, и что-то отказало в скафандре, это с каждым может случиться где угодно и когда угодно. Мы один за другим объясняем, какая она была удивительная девушка, как должны гордиться все, кто ее знал, и ее страна должна гордиться и что ее мать, которая ее пережила и будет ее оплакивать сегодня и всю жизнь, должна безмерно гордиться дочерью.

«Нам всем будет ее не хватать», — говорит тот я.

Эмми плачет. За подкладкой, подглядывая в вентиляционную решетку, плачу и я.

«Бунт», — говорит Эмми Квинн. Они не знают, что я за ними слежу. Что забрасываю в рот таблетки в корабельной подкладке. Я практически часть обстановки — часть механизма. Квинн загнал Эмми в уголок, пока тот я берет интервью у Гая, пытаюсь сделать сюжет, помнится, о нормальности, о цели, о возвращении к тому, что нам предназначено делать. (Гай показывал мне аппаратуру для измерения той аномалии, объяснял, что они делают, а я притворялся, будто слушаю. Я и сейчас ничего не помню, меня это меньше всего интересовало во всей экспедиции.)

Квинн отводит Эмми подальше от дверей, ближе к кабине и теснит к столу. Плевать ему на ее личное пространство, и на свое тоже, да она, кажется, тому и рада. Он говорит тихо, чтобы не услышали, склоняется к ней, прижимается. Он не сознает, что я могу сделать то же самое.

«Мы поднимаем бунт, свергаем Гая и разворачиваем эту колымагу к дому».

«И не выполняем задания», — говорит Эмми.

«И не выполняем. Вернемся домой, спасемся».

«Центр может предъявить нам нарушение субординации». — Она так произносит это слово, словно сомневается, уместно ли оно, — скорее вопросительно.

«Не посмеют, — говорит ей Квинн, — потому что мы можем обратиться в газеты и рассказать, что здесь небезопасно, что двое померли, на хрен, а мы хотели домой».

Бранится он с английским акцентом — я раньше не замечал, — и слова режут воздух жестче, чем его обычный растянутый говор.

«А Гай?»

«А что Гай? — Квинн оставляет ее у стола отдыхиваться, а сам идет к панели и что-то печатает. — У нас горючее на 73 % — значит, нам еще не меньше недели здесь с двумя мертвецами,

Гаем и Кормаком. — Не знаю, что он этим хочет сказать, чем так плохо быть здесь со мной. — Бунтуем и отправляемся домой».

«Не могу, — говорит Эмми. — Слушай, все наладится».

По голосу судя, она сама себе не верит.

«Они мертвы. — Гай уже не пытается шептать. — Ничего уже не наладится».

Они спят, все четверо, а я нет. Время — то, что здесь сходит за ночь, в корабле темно, две койки заняты, хотя я сделал все что мог — разве что не выскочил наружу и не ухватил Ванду за руку, как супергерой в кино. Я принимаю еще таблетку от боли, потому что много часов не чувствую ноги — толком не чувствую, — и еще глотаю антибиотики — всухую, нагоняю в рот слюны и глотаю, дергая горлом, как индюк, потому что таблетки здоровенные.

«Мне нужен сон», — говорю я себе, но я весь день за ними следил, и в голову не приходит перестать. Я пристегиваюсь к полу, и закрываю глаза, и ни о чем не думаю, кроме как о волнах, о прибое, размывающем всякую сосредоточенность. Я воображаю себя на надувном матрасе, качаюсь на волнах, мирно, спокойно, и меня жарит солнце, и я так далеко отсюда и все понимаю.

Я покидаю подкладку и плыву по коридору к каюте. Я принимаю еще таблеток, а потом сажусь к компьютеру, и забиваю свой пароль, и вывожу портрет Елены, и говорю с ним, рассказываю ей, как соскучился и как жалею, что решил лететь. «Хотел бы я знать, как здесь оказался, — говорю я. — Все мои теории просто бред».

Она смотрит на меня не отрываясь, и я гадаю, зачем я здесь: чтобы остановить корабль, чтобы предотвратить смерти или чтобы им способствовать. Я делаю это второй раз и уже повлиял; кое-что уже случилось так, как не случилось бы без меня. Может, мое назначение — довести это до конца. Может, я и часть проблемы, и решение.

Тот Кормак, что в каюте, за завтраком выпрашивает у всех новые интервью. Квинн молчит, Эмми кивает и говорит ему, что попозже его поймает. Гай возражает:

«Господи боже! Тебе больше делать нечего, как толковать с нами о нас же, о том, кто мы есть? — Он тычет в меня надкушенным батончиком. — Нет, а если так: хватит интервью, а ты попробуешь быть хоть малость полезным. Работы у нас полно, да?»

«Он не подготовлен», — напоминает Квинн.

«Не подготовлен! — смеется Гай. — Какого

хрена, я что, за руль его пущу? Мне приходится заниматься наружной обшивкой без Ванды, вот пусть он и поможет. Сколько у тебя часов на симуляторе выходов?»

«Семь», — говорю я. Он будто не верит ушам.

«Какого черта? — Он косится на Эмми. — У тебя и то больше, так?»

«Заткнись, Гай», — просит она. Эмми после смерти Ванды стала совсем тихой.

«Я просто говорю. Дурака ты валял, или что. — Это он уже мне. — Семь — хорошо, семь — нормально. С семью можно работать. Во всяком случае, на корпусе удержишься, так?»

«Я могу», — вызывается Квинн, но Гай цокает языком и мотает головой.

«Тебе надо побыть здесь — на всякий случай».

Вроде бы Квинн ему нужен, чтобы следить за оборудованием, но я-то знаю, на самом деле он думает: вдруг что случится. Я с точки зрения экспедиции всегда был самым расходным материалом — с практической точки зрения. Мой блог, новые видео, финальная статья в конце — все это сгодится и без меня. Погибни вместо Арлена я, статью написал бы кто-то из моих коллег, их бы и разобрали на цитаты, и материал был бы окрашен грустью и посвящен мне. Кормак в каю-

те помалкивает, не защищается — сидит тихо.

«Сегодня даем полную остановку и выходим. Ты отлично справишься и наберешь еще на час записей, так?» — Гай приканчивает батончиковый завтрак. Я вижу, как тот я откладывает свой, наполовину целый, и больше к нему не прикасается. Батончик всплывает.

Я не помню, чтобы нервничал, но того я тошнит, он утыкается лицом в пластиковый пакет, и его выворачивает. В двигателях есть двигатели поменьше, повернутые в противоположную сторону, чтобы одним выхлопом затормозить корабль, иначе гигантская инерция не даст выйти. Когда они срабатывают, надо выждать пятнадцать минут, чтобы остыл корпус, а потом нам можно выходить. Я помню, как меня тошнило, но думал, это я что-то съел или это от переключения от гравитации к ее отсутствию — нас предупреждали, что так может быть, что для слабых желудков это тяжело, — но теперь, когда я хорошо себе виден, я замечаю, как дрожат руки и колени, как я отдыхиваюсь, решив, что рвота иссякла, и как я сдуваюсь. Каким я выгляжу слабаком, думаю я. И что меня понесло в этот полет?

В дверях появляется Гай и предлагает мне пошевеливаться. «Надо одеваться, — говорит

он, — мы отстаем от графика». Я слежу за собой до раздевалки и вижу, как я втискиваю свое бледное тело в один из скафандров, как проверяю его и перепроверяю, нет ли трещин и разрывов. Ничего такого, так что я беру шлем, закрепляю его, еще и еще раз проверяю клапан и наконец догоняю Гая в шлюзе.

«Готов?» — спрашивает он, но ответом не интересуется, он уже нажимает кнопку открытия дверей, а я еще вожусь со страховочным тросом, и вот мы снова всплываем и оказываемся за бортом.

Вот как это было. Мне отсюда ничего не видно, но я помню, как стало на секунду холодно, а потом совсем тепло, тепло еще шло от корпуса, а потом мы плыли вдоль него, и я смог испытать, что значит быть невесомым и не видеть ничего, кроме космического пространства, смутного ропота далеких форм и цветов, что мы зовем звездами, планетами, или как там еще,– кое-какие отсюда так далеко, что их, может, раньше и не видно было, может, мы первыми видим их свет, даже раньше земных телескопов. Мы там начинаем, я помню, как поначалу поплыл: двигал руками и ногами, будто это поможет, но не встречал сопротивления и видел, что Гай надо мной смеется.

Он показал мне кнопку на предплечье — кнопку, управлявшую выбросом CO^2 сзади шлема — этого крошечного толчка хватало, чтобы двигаться в пространстве. Он заговорил со мной через шлемофон, подозвал к себе, чтобы показать, что надо делать, и я послушно нажал кнопку и двинулся как танк — так же неудержимо. Помнится, в тот первый раз я нажал слишком сильно и слишком надолго, и вышел перелет — я пролетел слишком близко к корпусу, и пришлось останавливать себя руками. Гай оттянул меня обратно, подвинул к открытой панели и сказал придерживать. Я держал, потому что она была пружинная — для безопасности, на случай если забудут закрыть, как будто она была из важнейших панелей — из тех, что давали доступ к важнейшим функциям: к двигателям, компьютерам, жизнеобеспечению, связи, — а он запустил руки внутрь, неторопливо постукивая по гигантским кнопкам, считывая числа на светодиодном экранчике и удовлетворенно кивая каждой, приговаривая: «Хорошо, все в порядке». Я отвлекся, потому что держать панель было скучно, и стал оглядываться кругом — на судно, за которое мы цеплялись, — его металлическое тело было вроде дирижабля, из тех старомодных цеппелинов, что показывали в

пропагандистских фильмах, только этот новый, блестящий, хотя побитый и помятый, без этого в пути не обойдешься. Я взглянул туда, где думал увидеть Землю, но не увидел — не знаю, чего ожидал, хотел ли ее увидеть или на самом деле не хотел. Не лучше ли было одному, без нее. Я посмотрел на Солнце вдалеке — самое большое из всего, что там было, но даже меньше, чем с Земли, из сада или с улицы. Мне был виден восход из моей спальни, и там оно было ближе, теплее, ярче, но куда меньше впечатляло, потому что здесь я видел его как есть. Оно не слепящее, оно золотое. Золотой диск, о котором люди писали, еще не зная, что это, еще не разъяв на научные части, не описав его как расширяющийся газовый шар. Когда в нем видели бога, каким оно и видится из космоса — созданным для поклонения, не для беглого взгляда. Гай сказал мне, что снял здесь все нужные показания, а теперь надо проверить целостность. Он показывает мне, как держаться за корабль, показывает крошечные зацепы по всему корпусу, вмятинки и выросты и ползет по ним, как ящерица. «Наработал на симуляторе больше двухсот часов, — сказал он мне, — и еще до того делал выходы с кораблей на низких орбитах». На его взгляд, все просто, как по

маслу. Я следую за ним, спотыкаясь, нашаривая несуществующие зацепы, и наконец нащупываю и выправляюсь, прижимаясь плашмя, огибая эту штуковину. Я на другой стороне корабля, совсем в другой части пространства, и вот тут Земля — крохотная, зеленая. Я помню, что почему-то почти не пользовался Пузырем. Я никогда не ходил полюбоваться, потому что оболочки мешают — технически все это впечатляет, и все равно ты за стеклом. С тем же успехом можно смотреть видео. Отсюда я вижу все. Слишком далеко, не разглядеть, что это — просто пятнышко, зеленое с голубым, и, может, вовсе и не Земля. Может, игра воображения, мираж. Но выглядит похоже, хотя Гай ее будто не замечает. Он сказал мне подняться на его высоту, отвинтить еще одну панель, на этот раз открыв провода. Он сказал, это основа системы управления, это они удерживают нас на курсе и способны принять из центра приказ к развороту, к перемене направления в случае чрезвычайной ситуации. Я его спросил, справится ли с этим делом Квинн, а он ответил, что не так это просто. Пилотам доверяли не вполне — те были просто наблюдателями. И ИИ не доверяли, потому что тот не раз врал или слишком тупо исполнял инструкции. Нет, сказал мне Гай,

единственный надежный способ удержать нас строго на курсе — это власть наземного центра управления — и в буквальном, и в фигуральном смысле. Они писали полетную программу, они рулили, а мы просто ехали. Арлен и Квинн нужны были для посадки в случае аварии, но все мы в руках центра управления. Гай попросил меня подержать инструмент, пока он отвинчивал панель, проверял провода, все соединения — дергал, проверяя, крепко ли держат, и светил фонариком в дыру, проверяя те, что в глубине. Закончив, он забрал у меня инструмент, закрепил панель, а потом будто обмяк.

«Готов?» — спросил он меня, а я спросил к чему, а он сгреб меня и отшвырнул. Я по спирали полетел от корабля — медленно и в то же время быстро. Может, я орал, не помню, уж очень быстро все вертелось, превращаясь в светящийся тоннель — это звезды оставляли следы в глазах, отпечатки. В наушниках загремел голос Гая, спросившего, весело ли мне, а потом натянулся страховочный конец, и меня потянуло обратно к кораблю, я вдруг успокоился, выправился, снова владел собой. Я нажал свою кнопку и быстрее двинулся обратно. Я вслед за Гаем двинулся к шлюзу, и он скрылся за перегибом, исчез. Я вы-

ждал несколько секунд — посмотреть на все вокруг, вобрать все это в себя, а потом полез за ним, и мы плавали в шлюзе, пока Гай не ударил по кнопке, и мы оба разом повалились на пол. Шлюз закрылся, в него вдули кислород, и появилась сила тяжести, и мы встали и сняли шлемы.

«Твой первый выход из „Исигуро“, — сказал Гай. — Ну как? — Он не ждал ответа. — Офигенно, да?»

Я вижу свое лицо, снова хватающее настоящий воздух, но уже успокоенное, и вижу, как Гай хлопает меня по плечу и, развернувшись, шагает по коридору. Не дожидаясь, пока я, Квинн и Эмми приготовятся, он жмет кнопки, и мы снова всплываем. Я слежу, как тот я раздевается в раздевалке, надевает обычную одежду и возвращается к главной каюте, где Квинн с Эмми разговаривают за столом и замолкают, когда я вхожу.

Я жду, когда команда уляжется, устанет. Дожидаясь, держу в руке пустую коробочку из-под таблеток, потряхиваю ничто внутри. Гай ложится первым, и тогда тот я, поневоле оставшись с Квинном и Эмми, заводит разговор о Ванде, а потом о том, чего мы ждем от возвращения (Эмми уверена, что власти дадут нашим погибшим какую-нибудь военную награду вроде Пурпурного

сердца. Квинн отвечает, что она с ума сошла, мы же частное предприятие).

«Всем плевать, что будет с теми, кто работает за деньги. Всем», — говорит он. Когда тот я идет спать, Квинн с Эмми не ложатся, они шепчутся за столом, как заставить Гая изменить программу, развернуть корабль. Мне хочется сказать им, что ничего не выйдет, что они ни делай, корабль будет лететь как летел. Корабль доживет до горького, горького конца.

«А если не добьемся разворота?» — спрашивает Эмми. Она заметно нервничает. Мне помнится уверенная в себе Эмми, Эмми времен подготовки. Теперь другое. Я не замечал перемены, но, похоже, я вообще мало что замечаю.

«Тогда пойдем до конца. Уже недалеко».

«Да, как же! Торчим здесь, будто ничего не случилось».

«Спасательных шлюпок-то нет… — Он берет ее за руку. — Слушай, все обойдется. Гай просто упертый, а Кормак…»

«Не надо». — Она не отнимает руку, а он водит по ней большим пальцем, поглаживает тихонько, медленно, нежно.

«Ладно, — говорит он, — ладно. Но Гая мы уговорим. Не такой он непробиваемый, каким

выглядит». — Он ведет рукой от ее ладони вверх, к локтю, к плечу, а потом подтягивает ее к себе — не для поцелуя, а чтобы по-детски ткнуться лбом в лоб.

«Доставим тебя домой целой и невредимой», — говорит он. Они остаются так несколько минут, куда дольше, чем следовало бы, а когда расходятся по разным койкам, я выбираюсь из своей норы, и плыву к столу, и усаживаюсь, пристегнувшись, и оглядываю всех спящих, и еще нуждаюсь в таблетках, потому что боль знакомо тянет все тело, и ногу, и голову, мозг.

— Хотелось бы мне быть с вами, — говорю я вслух. Думаю, мне хочется, чтобы они меня услышали.

Эмми звонила мне из номера в номер. Это было вечером перед возвращением из Флориды в Нью-Йорк и теоретически к семьям. У Эмми семьи не было, казалось, это ее вовсе не волновало, но отмечало, отличало от других. Некому было ждать разговора с ней на той стороне, сказать, как они рады, что с ней все хорошо. В свободное время она скучала. Я говорил по телефону с Еленой, уговаривал ее снова прилететь в Нью-Йорк, но она никуда не собиралась: ей наскучили эти разговоры, говорила она, наскучили мои увещевания.

«Вот вернешься домой, тогда можно поговорить. А так я этого не обсуждаю». — Она говорила тихо и терпеливо, а выглядела усталой и даже сердитой. Прощаясь, не встречалась глазами, опустила взгляд на свои руки, приготовилась отключить экран и сказала, что меня любит, и я поверил, хоть и не видел ее глаз. Я лежал на кровати, думал о ней, а телевизор работал — показывали кадры давнего лондонского наводнения, они напомнили мне об отце, который еще жил в этом городе, хотя от него мало что осталось, и я размышлял, скучаю по нему или нет и как трудно отличить чувство от обыкновенной реакции — и тут позвонила Эмми.

«Мы тут выпиваем, — сказала она, — и без тебя не обойдемся». Я встретился с ними в баре, где они — шестеро или семеро, почти все хорошо знакомые по тренировкам (и Гай с Квинном среди них) — хлебали выпивку прямо из взятых со стойки бутылок, записывая на свои счета (оплаченные нашими частными инвесторами, ни больше ни меньше), и выстраивали пустеющую посуду рядами. Когда я спустился, было уже одиннадцать, так что мы заплатили бармену, чтобы не закрывался, чтобы выбивал чеки. Счета нам тут оплачивать не приходилось, но мы никогда

не злоупотребляли — до того вечера. Заводилой, как мы шутили, подстрекательницей была Эмми: заказывала разные бутылки и упорно подталкивала по мокрой стойке к тем, кто плохо пил. «Зачем нужен последний вечер, если не устроить последний вечер?» — вопрошала она. Прямо как девчонка — только стала студенткой и можно делать что хочешь, — только после ее имени уже стояло много буковок, и она явно делала такое не первый раз. Квинн отправился спать первым, тихонько ушел где-то после часа.

«С похмелья мне в самолет нельзя, — сказал он. — Нутро не терпит». Понемногу отрывались и другие из потенциального экипажа, пока не остались только мы с Эмми и Гаем, а я только потому остался, что не хотелось возвращаться в номер. Гай перепил нас обоих — заливал выпивку в рот и гонял по языку, прежде чем проглотить, и ухал, глотая, будто гордился собой, хотя напиток вовсе не обжигал язык.

«Вот те хрен!» — сказал он. Он, пока пил, посматривал на нас с Эмми и все повторял, что пора нам в постельку, коли за ним не угнаться.

«Угонимся, — сказала Эмми, — еще как угонимся». И мы не отставали. Мы оставили Гая спать у стойки, потому что бармен тоже ушел,

закрыл бар железной сеткой и ушел, оставив нам бутылку чего-то липкого и почти светящегося. В лифте к номеру Эмми все припадала губами к горлышку, размазывала жидкость, чтобы густая зелень покрыла губы вместо стершейся помады, все посматривала в зеркало, оттопыривала губки, и смеялась, и целовала зеркало, чтобы остался след — липкое зеленое колечко, вовсе не похожее на отпечаток губ. Когда доехали до ее этажа, она позвала меня зайти к ней, и я согласился.

Вышло совсем не как с Еленой, не обыденно, не по плану, когда каждый раз одно и то же, без сюрпризов. С Еленой я знал, что сработает, и это стало привычкой — вовсе не скучной, просто повторяющийся компромисс. Эмми была моложе Елены, хотя по числу лет, может, и ровесницей, и она взяла все на себя, что было для меня совсем внове: чтобы мне подсказывали, просили, приказывали. Она продолжала пить и меня заставляла, даже когда мне стало нехорошо, когда комната закружилась на оси. Когда это случилось, она направила меня, прижалась щекой, языком — со вкусом горьковатого кислого яблока — проникла в рот. Закончив, мы лежали на постели, одеяло сползло на пол, телевизор работал, а она спала, а я смотрел на нее, на ее тело, нагое на кровати, — в

полном сознании и без капли стеснения, давно отброшенного с Еленой. Я смотрел на нее много часов, не спал, потому что знал: это не повторится. Елена меня ждала, и мне предстояло решение, потому что так устроен мир — настоящий, далеко от космического лагеря.

Я вижу, как Гай просыпается раньше других. Я наблюдаю за его привычной работой: как он протирает поверхности, считывает числа на экранах, записывает. Вызывает центр управления, и ему отвечают. Прием не чистый, много помех, как в старом автомобильном приемнике, потерявшем волну.

«Есть проблемы? — спрашивают они. Там ночная смена, обычно мы не с ней говорим. Мы живем по расписанному суточному ритму: восемь часов спим, шестнадцать бодрствуем — и в центре они держатся того же графика. Когда у нас утро, тогда и у них утро, а Гай, вызвав их до начала утреннего цикла, когда койки нас всех вышвыривали, наверное, застал их врасплох. — С нашего конца все выглядит нормально».

«Нет-нет, — заверяет он. — Я просто для проверки. На всякий случай».

«Хорошо», — говорят они, и на том конец разговору. Гаю скучно. Одиноко. Надо бы побольше с

ним разговаривать, думаю я и тут же соображаю, что осуществить этого никак не смогу.

Я устал, я так устал.

Я засыпаю, отключаюсь, пытаясь не уснуть, потому что команда не спит, потому что сейчас день, потому что мне надо бы жить по их часам. Эмми в каюте спрашивает, как дышится Квинну — кажется, чуть затрудненно. Затрудненное дыхание — обычное дело. Мы не привыкли к такой атмосфере, нечего и надеяться, что организм будет реагировать на нее всегда одинаково.

«Ты в детстве не страдал астмой? — спрашивает она Квинна, отводя ему рубашку и приставляя к груди стетоскоп. Он отвечает, что не страдал. — Подыши». — Она кладет ладонь ему на живот и просит еще подышать. Тому я, который наблюдает со стороны, кажется, будто он знает, что происходит. Не припомню, чтобы я понимал больше, чем теперь. Я об этом не помню, но определенно присутствовал. Гай вручает мне инструмент и спрашивает, не помогу ли в работе с двигателями. Тот я говорит «да», но с таким унылым видом, как будто рад бы оказаться где угодно, только не здесь, на корабле, где его просят помочь. Он плохо умеет смотреть, как закручивается спираль. Он плохо владеет собой.

Я слежу, как он, я, идет по кораблю, занимается, чем там он занимается, обычными делами. Потому что я знаю, что делал и где был. На миг я задумываюсь, настоящие ли мы оба, или настоящий я, а он нет, или он — что-то невообразимое, более невообразимое, чем то, что я снова здесь, по второму разу, живу в подкладке корабля, как постельный клещ, шныряющий за стенами, подбирающий крошки; и тут он вздыхает по Елене, разглядывает ее фото на экране, прежде чем сделать запись в блоге, прежде чем нажать кнопку «отправить», и я, видя его, проделывающим это — то, что я сделал бы и что сделал, — понимаю, что он — это я, а я — это он. Довольно мне в себе сомневаться. Он не сводит с нее взгляда — с одной из нескольких моих фотографий, где мы вдвоем, снятой где-то на берегу. В Норфолке? Думаю, это Норфолк, на одном из новых пляжей, устроенных после наводнения, мы там в шарфах, в плащах, в резиновых сапогах. Вода подступала к ногам, но мы хорошо снарядились и не волновались. Он приближает ее лицо — это я помню, как делал, потому что, убрав себя со снимка, я оставлял ее одну, без себя, — и он нажимает пальцем на экран у ее щеки, жмет так, что палец белеет, а экран идет рябью, пока он не отпускает.

Я вытягиваю шею, чтобы увидеть ее поближе, получше, так же, как видно ему. Мне бы отодвинуть его, чтобы не загораживал ее лица, но он не сторонится. Мне виден только изгиб ее щеки, волосы, один глаз, такой темный, почти черный на светящемся экране. Еще немного, и увидишь на фото ветер, дующий ей в спину, услышишь ее ворчание, жалобы на холод, а потом мы рассмеялись, и я подхватил ее на руки, будто решил сбросить в воду, хотя на самом деле не собирался. Все эти возможности — это были лучшие времена.

Тот я закрывает папку, убирает пальцы с клавиатуры, закрывает портрет Елены. Он выходит, и я следую за ним в дальнюю часть зоны отдыха, где он забирается на отгороженный участок с Пузырем, и я, не видя лица, слежу за его телом, пока он, разумеется, глазеет в космос, в пустоту, думает, какой он огромный и какие мы мелкие перед лицом всего этого. Как мало мы значим. Я смотрю, как вздрагивает его тело, и думаю, что не помню, чтобы плакал. Я гадаю, что довело меня до слез.

Квинн с Эмми беседуют наедине. Квинн все еще тяжеловато дышит, поэтому она за ним наблюдает (ха! «Да, уж ты с него глаз не спускай», — сказал Гай, когда она нам об этом сообщила). Он снял

футболку, чтобы Эмми послушала ему грудь и спину, и он хватает воздух между фразами, по кусочкам, чтобы не сдуться. Эмми прислушивается к его дыханию и к словам, но я не знаю, что для нее важнее.

«В следующий раз, как Гай выйдет наружу, я вызову центр, — говорит Квинн. — Завтра, пока он будет осматривать обшивку, выйду на связь и скажу им, что мы хотим домой».

«Они уже распорядились продолжать», — говорит Эмми.

«Конечно, но я выставлю все хуже, чем есть: скажу, будто что-то на исходе. Что-нибудь. Скажу, что компьютеры, похоже, неисправны».

«Они их проверят с Земли», — справедливо возражает Эмми. Квинн тянет в себя воздух короткими толчками.

«У них не останется выбора. В смысле, каковы последствия, если Кормак что-то напишет о том, что нас подвергли опасности или не помогли?»

«А если откажут? — Ладонь Эмми так и лежит на груди Квинна: ее ноготки запутались в его волосах. — Если прикажут продолжать?»

«Страшно тебе? — спрашивает он, но ответа не ждет. — Скажем, что связь плохая. Скажем Гаю, что нам надо домой, что выбора уже нет».

«Он не станет слушать».

«А мы его заставим», — говорит Квинн. Он вдруг становится другим — был такой спокойный, американский, гладкий, невозмутимый, простой и так легко давал задний ход. И вдруг он решительный, жесткий. Они еще несколько минут сидят молча, слушая его дыхание, а потом Эмми ему говорит, что сделает укол, потому что по звуку похоже на астму.

«Не было у меня никогда астмы, — повторяет он. — Вообще не бывало проблем с дыханием. Здоров как бык».

«Все когда-то случается в первый раз», — говорит Эмми. Она делает инъекцию и вот тогда впервые открывает аптечный шкафчик, и я все вижу у нее на лице: кое-чего не хватает. Она пересчитывает лекарства и прочее; все вынимает, расставляет рядами, одну за другой читает этикетки. У нее в компьютере инвентарный список всего, что должно быть, вплоть до последнего пузырька (и количества таблеток в нем), и все бинты, тюбики с антисептиком, антисептические салфетки. Она выстраивает штативы с лекарствами, с иглами и запечатанными пробирками для анализов, средства от инфекций, для анестезии и седативные — лекарства от всех болезней. Она не

объясняет остальным, зачем это делает, — даже Квинну не говорит, а вместо того говорит нам, что у нее по графику инвентаризация.

«Это входит в мои обязанности», — говорит она и просит Гая дать гравитацию, говоря, что ей нужно, потому что она забыла кое-что сделать. Он уступает — через силу.

«У тебя полчаса, — говорит он ей. — Сама знаешь, нам нельзя терять времени». Как только он нажимает кнопку остановки двигателей, она садится к столу, вытаскивает ящички, выкладывает из них содержимое — все эти цветные пакетики и трубочки на строгом белом столе — и пересчитывает их, перекладывая из кучки в кучку, и отмечает в списке. Находя несоответствия, она каждый раз хмурится. Тот я, что в каюте, принимает ее гримасу за протест. Он шутит:

«Спорим, ты не подписывалась целыми днями пересчитывать пузырьки с таблетками?»

«Не подписывалась», — отвечает она.

«А нам все это и не пригодилось».

«Да, — кивает она, — потому что когда погибли Арлен и Ванда, я ничего не успела». Она замолкает, снова и снова пересчитывает обезболивающие, открывает пузырьки, высыпает таблетки в кювету и перебирает по одной. Она

больше ничего не добавила, но, закончив подсчет, высыпает все обратно и начинает сначала. Я смотрю, как она с суровым лицом отмечает их в списке.

«Черт», — говорит она, раскладывает лекарства в шкафчике и закрывает дверцу. Тот я, что у компьютера, смотрит, как она удаляется по коридору; я следую за ней, протискиваюсь за подкладкой, сколько позволяет нога в ее нынешнем состоянии, и через вентиляцию над своим первым гнездышком наблюдаю, как она шарит по ящикам. Наконец она отыскивает что искала: навесной замочек из запасных для личных шкафчиков — и решительно марширует обратно. Мне слышно, как защелкивается замок на дверце аптечки и как тот я спрашивает, зачем запирать, что это ей в голову пришло?

«Его и полагалось запирать, — говорит она. — Я забыла про замок. Такие правила».

Я рассматриваю тот пузырек, что держу в кармане, с пятью оставшимися таблетками, и слышу, как Эмми жмет кнопку, приводя корабль в движение. Она не дает себе труда нас предупредить — мы просто теряем вес.

Я за подкладкой всухую глотаю еще таблетку. Осталось четыре.

Эмми созывает нас в главную каюту, говорит, что забыла провести психологическое тестирование. Это она пытается выяснить, кто из нас мог взять таблетки. Что же, это разумно. А в тот раз я списал это на нервозность Эмми, которая ищет чем занять день.

«Это входит в мои обязанности, — говорит она. — Убедиться, что мы все справляемся. — Она ободряет нас улыбкой. — Слушайте, я знаю, что все мы в порядке, но правила есть правила, да? Тем более после всего случившегося».

Она обращается к нам, стоя перед навеки замершими телами Ванды и Арлена. Помню, в тот раз я подумал, как это любопытно. Кажется, даже сказал ей об этом, когда спросила, — или скажу сейчас. Она говорила со мной первым, увела по коридору к раздевалке, где мы с ней парили в воздухе, пока она готовилась.

«Мне придется записывать, — говорит она. — Им дома это понадобится. Конфиденциально, между тобой, и мной, и доктором Голдингом — помнишь Голдинга из приемочной комиссии? — но передать придется». Она включает запись и откашливается. Я приваливаюсь к стене, это можно не смотреть — прекрасно помню.

«Я не против», — говорит тот я.

«Кормак, ты в порядке?»

«Все нормально, — говорю я. — Соскучился по… ну, по всему, ты же понимаешь».

«Ты все молчишь», — говорит она тому мне.

«Работаю».

«Знаешь, — говорит она, — со мной можно обо всем говорить. Меня к этому готовили. Отчасти за тем и взяли».

«Это приказ?» — Кажется, на этом месте я улыбаюсь.

«Предложение. Если тебе нужно поговорить, я здесь — я только это и говорю. Тебе, должно быть, тяжело — после Арлена, Ванды. Того, что с ними случилось».– Она говорит как заговорщица, будто надеется что-то из меня вытянуть. Как будто я признаюсь!

«Ни хрена не верится… — Так слышишь сам себя по радио или в записи — голос возвращается к тебе таким же, как звучал в голове, только изменившимся, как бы стянутым, лишившись силы и звучности, которые тебе представлялись, пока говорил. — Это выглядит… жестоко».

«Их смерть?»

«Что они здесь и смотрят на нас. Я понимаю, что не смотрят, но они здесь. Нам на них приходится смотреть».

«Иначе их никак не сохранить. Ты же понимаешь, да? — Докторский голос, звучит как положено. Чисто деловой тон. Она это тоже чувствует, я это и тогда понимал, потому что ее знал, и теперешний я понимаю, потому что насмотрелся, как она морщится, глядя на тела, и жмурится, и отводит глаза, как переигрывающая актриса. — Они заслужили похороны».

«Понимаю».

«А с командой все хорошо? Других проблем нет?»

«Никаких».

«С Гаем? С Квинном?» — Как у меня с ней, она не спрашивает.

«Все прекрасно».

Вот здесь она смотрит в глаза, чего избегала, поглядывая иногда в мою сторону, на решетку, словно советовалась — и немного понижает голос:

«А со здоровьем как? Порядок?»

«Порядок». — Я качаю головой, и она сразу настораживается.

«Что?»

«Ничего, — говорю я. — Просто… С тобой все в порядке?»

«Не обо мне речь, Кормак, — говорит она. —

Приходи ко мне и говори, если что случится, или надо выговориться, или просто хочется поболтать. О чем угодно. Ты же знаешь, где меня найти, да?»

«Далеко ты, строго говоря, не уйдешь», — отвечаю я. Разговор короткий, но она, кажется, удовлетворена или настолько удовлетворена, насколько возможно без полноценной проверки здоровья: анализов крови и тому подобного — а от них мы вправе отказываться, и она это знает. Она зовет к себе Гая, и он, входя, вздыхает, всплывая и упираясь руками в потолок, чтобы остановиться, и ждет так, едва ли не агрессивно. Эмми не любит Гая, никогда не любила и не скрывала. Он, со своей стороны, даже рад, потому что, я думаю, привык к такому.

«Как дела?» — спрашивает она со старательной непринужденностью, и он смеется.

«Все дальше от Земли, так? В смысле, ни хрена себе вопросик! — Он хлопает себя по колену. — Слушай, я в порядке. Ты о себе беспокойся и о великом Квинне».

Эмми краснеет.

«Речь не обо мне».

«Не о тебе? А ты мне вот что скажи, Эмми: кто будет оценивать результаты тестов? Кто решает:

„А, ясное дело, она годится для этого дела, потому что поимела двоих из выживших, а единственный, кого не поимела… ну, она не в его вкусе, а то бы, пожалуй, попробовала. Я думаю“. — Он снова смеется. — В смысле, отношения в команде нездоровые, так?»

Она ему не отвечает, не смотрит на него, но заливается краской. Мы в этот момент еще не знаем, что она спит с Квинном, или что спала, или что там, и я не знаю, что про нас с Эмми — всего-то одна ночь, но сколько она порушила, ужас, — я не знаю, что и про нас все знают.

«Слушай, я в порядке, нормально функционирую, но мне надо делать дело, а ты лезешь под ноги, мешаешь. Так что давай просто скажем так: „Да, я здоров“. Что бы это ни значило». — Он толкается к двери, сдвигает створку.

«Квинн! — орет он. — Квинн, она тебя ждет!»

Она плачет, и Квинн, войдя, обнимает ее, и она что-то ему шепчет, но мне не слышно, но я думаю, это и к лучшему, потому что это личное.

Эмми всю дорогу до аэропорта со мной флиртовала. Нас загнали в аэродромный автобус, и она пристроилась ко мне в очереди, уселась в мой ряд вместе с тремя уже почти забывшимися (я стараюсь их вспомнить, но лица — белые

пятна, потому что всю дорогу я смотрел на Эмми). Она сидела напротив, так что наши колени соприкасались, и все время говорила о том, что было ночью, — обиняками и намеками, но не особо тонкими, будто ей плевать было, если кто поймет.

«Здорово выпили, да? — спросила она, хоть и сама знала. — Я утром проснулась тряпка тряпкой. — Она все время мне улыбалась, другие пассажиры тихонько посмеивались, потому что они-то не пили, их и не приглашали. — Ты как себя чувствуешь?» — спросила она.

«Нормально, — сказал я ей, — голова болит, но ты сама понимаешь».

«Понимаю», — сказала она. Я остаток ночи решал, что это будет последний раз. Эмми была красивая, сильная и забавная, но я любил Елену. Я это знал и понимал, что этого не изменишь. Я решил сказать об этом Эмми в самолете, где у нее не будет возможности устроить сцену, но был уверен, что, в сущности, ей все равно. Все вышло так запросто, что я был уверен: она возражать не станет. Мы сидели рядом, потому что регистрировались друг за другом. Гай сидел по другую сторону от меня, а я в середине, и Гай, едва мы уселись, уснул, свесив голову мне на

плечо. Эмми это показалось очень смешно, она передразнила его, а потом просунула ладонь мне под руку, обхватила локоть ладонью и закрыла глаза. Я дал ей посидеть так несколько минут, пока не подошла стюардесса с напитками, и тогда тихонько встряхнул. Она ничего не захотела.

«Прошлая ночь была особенной», — начал я. Она сразу поняла, к чему идет. Гай спал — или притворялся, — а мы весь разговор перешептывались. Она почти не отвечала, но левой рукой держалась за меня дольше, чем было нужно — когда давно уже ясно было, что ни к чему мы не придем.

Я чуть не дал себе пинка, когда она забрала руку, потому что это я натворил. Потому что до того мы были близки, а теперь это рухнуло. Потому что часть меня еще желала ее — та часть, что моложе, с более густыми волосами, без брюшка, еще не забывшая, как это — когда гуляешь сколько душе угодно, не пытавшаяся сделать ребенка жене, не потерявшая первого, не желавшая ее сохранить, бороться вместе с ней вместе за то, что впереди.

Когда мы приземлились в Кеннеди, Елена ждала на выходе с чемоданом в руке. Только что прилетела, а мне не говорила, что летит. Эмми

медленно подошла и заговорила с Квинном, который метался, прощаясь со всеми подряд, пожимая руки, и не стала смотреть, как я целую Елену и обнимаю ее за плечи, сцепляя ладони на спине, обещая ей, что все у нас получится.

Осталось три таблетки, и мне кажется, я смогу заснуть. Закрываю глаза, но без толку, и я снова выбираюсь в простор корабля, подтягиваюсь по коридорам к каюте. Я проверяю шкафчик — как будто не видел, как Эмми его запирала, но вдруг она забыла запереть замок, и я решаю рискнуть. Открываю большой продуктовый шкаф, беру батончики биг-мака, десертные батончики, пакетики кока-колы. Я сижу за компьютером и прокручиваю свои фотографии, даю приближение, рассматриваю себя с Еленой и своих родителей. Я заглядываю в папку своих записей, в дневниковые заметки, писавшиеся с первого дня на корабле. Скрупулезно, в мельчайших подробностях вплоть до разговоров, с пометками времени и дат.

— Мне это ни к чему, — говорю я, потому что все это уже видел, как режиссер просматривает отснятый материал и видит, как он смотрится в отрыве от сценария. Я заглядываю в компьютеры, сажусь в кабину на место первого пилота и кру-

чусь на нем, потому что уже делал так, когда был совсем один, после того как все умерли. Я продвигаюсь по кораблю к раздевалке, стягиваю с себя одежду, запихиваю в подписанный моим именем шкафчик. Я еще помню код: мой день рождения и день рождения Елены — и принимаю душ в капсуле. Вода изумительная, холодная, так что я поначалу ежусь, потом привыкаю, а закончив, я включаю вакуумную вытяжку, загоняя излишки обратно в систему. Я бреюсь перед зеркалом, и, когда наметившаяся борода сбрита, а лицо очищено от грязи с подкладки, я осматриваю себя, оттягиваю складки кожи — она как будто обвисла. Я сбросил вес, пару стоунов, говоря наугад, два с половиной, а может, и больше — и кожа у глаз как бы набрякла. Можно оттянуть кожу под глазами, чтобы увидеть красные прожилки в усталых глазных яблоках. Я чищу зубы, полощу рот, тру пальцем с зубной пастой и чувствую, как щиплет чувствительные десны. Мне, как видно, не хватает начинки. Я смотрю в зеркало на свое тело, ребра.

Я сижу на месте Квинна в кабине, щелкаю переключателями, про которые знаю, что эти не работают, и требую от компьютерного экрана указаний, как повернуть корабль. Инструкции

в нем наверняка есть, но там тысячи файлов, руководства в формате PDF, интерактивные, с удобным поиском, только результаты поиска мне ничего не говорят. Видимо, на корабле имеются предохранители, но нам их знать не положено, вернее, не положено было читать о них в неуклюже составленных справочниках. Я подумываю отправить письмо домой, спросить, что мы можем сделать — будто бы это ради корабля, скажу, что надо поворачивать, что мы все больны или еще что, что проблема… где бы? в двигателе, но, пока придет ответ, я усну, и сообщение примет экипаж и поймет, что здесь кто-то лишний. Их я, может, и спасу, но не себя. А что важнее?

Я возвращаюсь за подкладку и принимаю еще таблетку, потому что не выдерживаю. Мне не вынести сознания, что я здесь без всякой цели, а все цели, что я ставлю сам себе: спасти корабль, спасти команду (тех, кто остался), спасти себя (вторую версию), вернуть экипаж домой… не знаю, правильные ли они. По телевизору и в кино, в книгах про путешественников во времени — эти слова как похоронный звон, гулкое эхо в ящике, из которого мне не выбраться,– у них есть миссия, или они ее узнают и знают, что им делать. Им или надо вернуться в свое время, или что-то

переменить (исправить, или испортить, или починить испорченное другими), или научиться жить с тем, что произошло. У меня ни знаков, ни подсказок. Мне остается только поступать так, как кажется правильным, полагаться на внутреннее чутье. Чутье подсказало не заговаривать с остальными, не давать им знать о себе. Чутье подсказало, как мне спасти себя, как выкарабкаться, сделать все, что мне предназначено. Потому что в путешествиях во времени есть еще одно правило: они замкнуты, а если нет, то должны быть. Это как электрическая цепь: чтобы пошел ток, надо подключить оба конца. А если нет, то ничего и не выйдет. Цепь должна быть замкнута.

— Я думаю, что схожу с ума, — обращаюсь я к темноте. Я однажды сказал это Елене — когда у меня случился писательский блок, когда мне не удавалось ничего перенести на бумагу, а слова, которые сам же написал, ничего не значили.

«Просто ты немножко поломался, — сказала она мне. — Ты поломался и должен разобраться, как себя починить». Я открываю глаза, и вот она, на секунду улыбается мне. Она исчезает, пока я смаргиваю слезы и вспоминаю, где я и к чему иду. Скоро умрет Гай, а потом Квинн, а потом Эмми, и тогда останемся я и он, я и я, один на один, и

тогда придется предпринять что-то решительное: спасти дело, стать героем. Вписать свое имя в титры.

Следующий день я провожу, перебирая все аспекты своего первого раза — во всех подробностях. Перебираю подробности и как оно складывается со случившимся во второй раз. Я проснулся один вскоре после перехода, и как-то тянул время, и убил Арлена, а потом заснул, но я проснулся первым, и искал где спрятаться, и соорудил палатку, только это было глупо, дурацкая мысль, и тогда я нашел подкладку, и забился в нее, и пытался все как-то сложить, и я принимал обезболивающие таблетки, потому что к ним пристрастился — только когда я успел пристраститься за несколько дней? — всего-то пара дней прошла, пока я взорвал корабль, но, может быть, этого хватило, может, они такие сильнодействующие, такие мощные, и я уже не чувствую реальной физической боли, только остаточную, если не принимаю таблетку; а потом я смотрел, как Ванда покончила с собой, и тогда я начал разбираться в происходящем, потому что все это разворачивается в одну-единственную сторону и закончиться может одним-единственным образом.

В первый раз мы — то есть прошедшие подготовку, совсем немногие (или почти немногие, потому что остальные ничего не значили, их скоро должны были отправить по домам без права рассказывать о том, что было, благодаря подписке о неразглашении, которая могла лишить их всего, если проговорятся) — учуяли, что между Квинном и Эмми вроде бы что-то завязалось, на последнем этапе подготовки. Мы проводили целые дни в полномасштабном симуляторе корабля, выполняли работы, как в настоящем. Целая неделя, плотная и интенсивная, и люди из УПИ все контролировали: свет, шум двигателей, уровень гравитации, при котором нам предстояло существовать, содержание кислорода (которое меняли по своей прихоти, проверяя, как мы будем справляться с недостатком). Мы исполняли приказы, но все это было безопасно. С чем УПИ ничего не могло поделать, так это с нашим пониманием, какая все это фальшивка: потому что за окнами были серые стены ящика, однообразное пространство коридоров и помещений разного размера и потому что на самом деле ничего не могло случиться. Когда УПИ включало тревогу и датчики показывали неполадку в одном из двигателей, Гай неспешно выводил Квинна за

борт фальшивого корабля, и они плыли до места и якобы исправляли поломку. Мы пробовали после такого встречать их аплодисментами, но и это выглядело глупо — вроде как идея хороша, а вот исполнение подкачало. Никогда это не ощущалось настоящим.

«Все всё поняли, — сказал Квинн. — Я буду величайшим на свете героем».

«Увы, — сказала Эмми, — только для нас».

И на этом все. Замечание было совершенно невинным, безобидным, но она оставила слова висеть в воздухе дольше, чем требовалось, а Квинн никак их не обшутил. Проглотил похвальбу, хоть мы и понимали, что она ничего не значит, но он на ней завис. Они не обнимались и не держались за руки, ничем не выдавали, но с тех пор пошли разговоры.

«О, они влипли, — сказал Арлен, — даже если сами еще не поняли». Со мной никто даже не заподозрил. А теперь, с Квинном, когда и месяца не прошло с нашей с ней ночи, Эмми вдруг стала темой для сплетен. Мы дотянули до конца той недели, оставаясь самими собой на фальшивом корабле и стараясь не хихикать, когда в него вторгалось что-то из реального мира: падала трубка или на компьютере вдруг загружалась

«Виндоуз», потому что программное обеспечение для нас еще не доделали и мы работали на факсимильной, потрепанной версии, подогнанной под наши нужды. Квинн шутил про еду, которой нас кормили:

«Как считаете, если она застрянет у меня в глотке, нам дадут нормальной еды? Я убить готов ради бифштекса с картошкой».

«С перечным соусом», — сказала Эмми.

«О да, будь я проклят!» — подхватил Квинн. Мы смотрели, как они друг друга подкалывают, и все их подозревали, а они знали.

Неделя прошла, и мы все вернулись в гостиницу. До следующего захода оставалось несколько дней, и Елена снова прилетела со мной повидаться. Ждала меня в номере, заказала ужин, обслуживание номера и бутылку вина, и мы уселись за смешной маленький столик и ели с маленьких тарелочек.

«Расскажи мне все», — попросила она, и я рассказывал, но старательно обходил Квинна с Эммой, потому что не знал, что ей скажу, если подумаю о них всерьез.

На корабле первоначальная версия меня постоянно что-то пишет — во всяком случае, сидит за компьютером и думает о том, что будет писать.

Держит пальцы на клавиатуре и раз за разом пробует начать. Я помню, что к тому времени стало трудно — трудно постоянно отправлять что-то читабельное, трудно день ото дня попадать в настрой с читателями, незнакомыми и непредсказуемыми. Хотят ли они больше узнать про корабль? Про пассажиров? Обо мне? Я не жалею слов на восхваление погибших и вставляю в абзацы текста кое-какие данные измерений Квинна: где мы, что мы видели. Иногда добавляю картинки, мимо чего мы проходим — на экране все выглядит совсем иначе, чем невооруженным глазом. Фотографии удаленных, почти невидимых объектов вдруг делаются для читателя близкими и отчетливыми. Помню, однажды я написал: «Это не то, что видим мы, потому что отсюда все черное с точками и пятнышками, как из вашего сада глубокой ночью. На самом деле никакой разницы, только здесь не получишь кружку горячего шоколада и не завернешься в одеяло вместе с самодельным телескопом. Здесь у вас есть белизна корабля и холод за бортом, и не нам решать, когда прекратить наблюдения, потому что ничего другого здесь не увидишь».

Мне выпадает удача смотреть в спину себе, пока он сутулится и то ничего не пишет, то что-

то записывает и кликает «отправить», каждый раз с первого черновика — нажав кнопку, уже ничего не поправишь. Я никогда не умел писать сразу начисто, но обстановка требовала. Сигнал разгрызают на кусочки и выплевывают на сотни тысяч миль, никогда еще информация не пересылалась на такое расстояние, и я не знаю, когда она дойдет — из-за задержки сигнала доберется ли через два дня? три дня? — но такова природа техники. Я задумываюсь, не раньше ли они отправлены, чем другой вариант меня успеет их переписать, исправить в свою пользу. Надеюсь, что так, а то на Земле пойдет в печать депрессивный отчет о происходящем в сознании совершенного безумца.

Я провожу еще одну ночь, скитаясь по телу корабля. Первым делом я чищу зубы, чувствую, как они ерзают в лунках под нажимом щетки, и придерживаю языком. Кровь, которую я сплевываю в трубу, не жидкая красная кровь из больных десен, а густая и темная, и за ней следует зуб, брякает по гибкой трубке, прежде чем навсегда скрыться в вакууме. Это был резец, лунка от него широкая и сладкая на вкус. Я опорожняюсь и моюсь, потому что чувствую, что это следует сделать. Я разглядываю в зеркале шрамы на спине, как рубцы от

кнута, и обнаруживаю еще один там, где раньше не замечал, на затылке под линией волос. Закончив, я одеваюсь в чистую форму и снова бреюсь — собственной бритвой — и подстригаю ногти. Я обшариваю продуктовый шкаф, беру батончик биг-мака, и съедаю в коридоре, и с ним глотаю последнюю таблетку — эта единственная таблетка мне и аперитив, и десерт, два в одном, и, подействовав, она все меняет. Боль вернулась, нога онемела, но теперь я знаю, что боль эта ненастоящая. Эта боль — совсем другое. Я не нуждаюсь в таблетках: раны у меня вполне зажили. Бог весть сколько раз я ранился с начала этой петли — или круга, может, разумнее назвать это кругом, не так безумно звучит, больше похоже на математику, чем на фантастику, — но много. Шрамы говорят: мне не больно, это зависимость. По ощущениям никакой разницы. Я трясусь в ознобе и думаю, как не буду больше принимать таблеток. Я знаю, что смогу это пережить.

Сидя за компьютером, я смотрю, сколько нам осталось пути, сколько еще впереди. По моим расчетам. Гай умрет послезавтра, а значит, мы подходим к моему одиночеству и точке невозврата. На корабле так темно, и от людей рядом — еще живых — жутче, чем было, как в доме с

привидениями, так и ждешь, что кто-то на тебя выпрыгнет. С коек, кажется, все глаза смотрят на меня, хоть и закрытые. В прошлый раз, когда я со всем покончил, я чувствовал себя совсем одиноким. Сейчас — что угодно, кроме этого.

Я открываю файлы, ищу информацию, которая могла не попасть в корабельную базу данных. Я пытаюсь войти в папку Гая, посмотреть, нет ли там каких документов, но она зачем-то закрыта паролем, и тогда я пробую Квинна и листаю заголовки сотен банальных файлов, пустые крохи. Я вижу файл, озаглавленный «Эмми», и подумываю его открыть, прочесть, но нет, я ведь и так знаю, что там будет: письмо, или фотография с ними вдвоем, или еще что. Что-то не для моих глаз. Я уважаю приватность. Я должен.

Потом сзади шипение, звук открывающейся койки, и меня толкает изнутри — торопись! Я отбрасываю себя назад, скребу по стенам коридора в сторону складов и успеваю увидеть вылетающего в двери Гая.

«Кто здесь?» — шепотом кричит он, но я уже в кладовой, затягиваю себя за подкладку. Дверь закрывается, когда он на полпути по коридору, и я через вентиляцию подглядываю, как он заглядывает во все двери. «Кто здесь?» — снова шепчет

он и зажигает фонарик, но высвечивает одни углы. От меня ни следа, соображаю я, кроме только файлов на компьютере. Я был в каталоге Квинна. Я спешу к каюте и жду возвращения Гая. Он пересчитывает тела в койках, проверяет, все ли спят, а потом садится за рабочий стол и пристегивается. Файлов на экране он вообще не замечает — возвращается в систему, в меню. Он сосредоточен на одном. Войдя к себе, он открывает фото — старик, и старая женщина, и совсем маленький мальчик, явно Гай, только здесь он еще Герхардт в таком смешном костюмчике, а с ним, надо думать, бабушка и дедушка, а может быть, родители, но очень уж старые, — и он что-то говорит, тихо, так тихо, что мне не слышно. Я никогда не узнаю, что он сказал. Он что-то загружает в портативное устройство и закрывает экран, поднимается над консолью и выплывает в коридор. Я гонюсь за ним до раздевалки, где он пристегивается к скамье и загружает в устройство приложение. Программа принимается устанавливать контакт с базой. Здесь, в такой дали, длина волны около нуля. Качества никакого, лица людей в центре управления — серые пятна на фоне помех. Он вытягивает подключенные наушники, и мне не слышно, что говорят там, но его часть я слышу

— спокойный шепот, и все же различимый.

«Все по графику. До вхождения всего несколько дней. Самое большее — неделя. Все в порядке, даже Кормак. Завтра отошлем последнюю передачу. Ладно. Герхардт, отбой».

Он закрывает приложение и возвращается в главную каюту. Снова ложится в койку, но я не решаюсь выйти, потому что, закрыв глаза, почти засыпаю и вижу сон; и во сне вижу себя там, а он видит меня и вопит, и все кончается, что означает, что однажды я пытался выйти и увидел себя в его открытых глазах.

6

Гай держится как обычно, о том разговоре команде не рассказывает. И вообще этой темы не касается до обеда, а тогда предлагает нам отправить домой репортаж.

«Давно не отправляли, а связь с расстоянием все ненадежнее. Может, это наш последний шанс отослать видео, так что давайте». Это не приказ, но мы, вся собравшаяся за столом веселая четверка, не против. Однако вот опять Гай солгал: сперва про Ванду, потом о трансляции домой. Хотелось бы, чтобы он лгал ради нашей безопасности, но тут что-то еще, что-то недоброе. Он знает, какая паршивая будет связь, а нам не говорит, скрывает от нас за завесой каких-то личных соображений. Мы, доев, собираемся вокруг стола, Гай жмет кнопку остановки, и всех нас тянет вниз. Обычно связь устанавливаю я, но в этот раз распоряжается Гай — выстраивает кадр, как фотограф давних времен, встает за камеру, удостовериться, что все мы хорошо смотримся.

«Они теперь долго нас не увидят, — говорит он, — так постараемся по такому случаю хорошо выглядеть. Улыбайтесь. Сделайте счастливое

лицо. — Мы делаем. — Да, вот еще о чем надо помнить, — говорит он. — Мы неустрашимы, так?»

Он так выговаривает это слово, будто оно не умещается ни во рту, ни в его словаре.

«Привет, все! — начинает Эмми. Ей, не знаю как, удается счастливый тон. Я стою рядом с Квинном, а Эмми с другого бока, а Гай перед нами ведет съемку, стоя на коленях. Я помню, что, пока мы говорили, смотрел ему в макушку, замечая слабые отметинки на коже, где сводили тату. Помню, я подумал, как мало о нем знаю; ни за что бы не догадался, что он когда-то был бунтарем. Он казался таким правильным. — Говорит экипаж „Исигуро“, мы выходим из зоны видеосвязи и решили передать последние новости, чтобы вы знали, как мы по вам скучаем».

Она не называет имен; ей там скучать не по кому, что бы она ни говорила.

«Мы здесь уже не одну неделю и приступаем к следующему этапу полета через… два дня? — Она оглядывается за подтверждением на Квинна, тот кивает. — Через два дня мы продвинемся туда, где еще никто не бывал, и это изумительно. — Она похожа на телеведущую. — До сих пор так далеко залетали только зонды и спутники. До нас такого никто не делал». Все мы подумали, что,

когда вернемся, она станет известной личностью, сделает карьеру. Это судьба.

«Мы все взволнованы, — говорит Квинн. — Мы попробуем связаться оттуда, когда туда попадем, чтобы вы могли отметить вместе с нами». — Он берет Эмми за плечо, собирает складки ее костюма, натягивает, давая ей почувствовать, что он здесь, с ней.

«А там уж вскоре поворачиваем к дому», — подает голос Эмми. Тот я молчит. Гай тоже молчит, но, когда Квинн предлагает нам прощаться, машет рукой и вместе со всеми кричит «До свидания».

«Хорошо вышло», — говорит он, когда мы отключаем связь. Это, как я помню, был наш последний разговор с домом.

Елена все тревожилась, как мы переживем разлуку, нарастающее с каждым днем расстояние.

«Тебе нельзя будет прямо со мной поговорить, — сказала она. — Не знаю, как я выживу».

Нам тогда сказали, что личные контакты — нини, каждая передача стоит миллионов, каждый пост моего блога — тысячи. «Но хоть через них я смогу с тобой связаться», — сказал я.

«Ты по каждому моему сообщению поймешь, что я думаю о тебе, — сказал я. — Каждый пост

— мое письмо тебе, так их и понимай».

«Это не то, Кормак. — Я до того находил на подушке гостиничной кровати ее волосы, толстые, черные, свернувшиеся змеями, а тут она обкусала ногти до мяса, как говаривала моя мать — до живого. Руки у нее раньше были красивые; я ей об этом не говорю. — Это не то. Потому что мне будет тебя так не хватать, и все это так несправедливо».

«Но ты подумай, как это важно», — сказал я. Мы в ту неделю попали на обложку «Тайм» со статьей, предваряющей все, о чем мне предстояло написать, с подводкой на зависть поп-звезде или политику. Начали со слов капитана Кука — о том, что суть открытия в том, как далеко возможно зайти, а не в том, что ты найдешь, добравшись туда, но само путешествие, поиск — вот что приравнивает нас к великим. О нас, о команде, было немного — несколько подробностей, — и кое-что о корабле, о нашем курсе и о том, что мы можем увидеть. Большей частью статья — и те, кто давал для нее интервью, — думали о значении этого полета. Елена этого не понимала.

«Напрасно ты летишь», — сказала она.

«Я должен, — ответил я. — Это так важно». Этот разговор повторялся снова и снова, по кругу, она

никак не отступалась от этой темы.

«Важнее меня?» — спрашивала она, а я отвечал, что люблю ее, но мне выпал шанс совершить нечто великое. Сколько раз я произносил эту фразу? Сколько раз?

«Что я для тебя?» — спрашивала Елена.

«Ты — моя жена».

«А это ничего не значит? Чем ты докажешь, что я для тебя так важна? Что я важнее всего?»

Каждый раз после таких вопросов я готов был рассказать ей про Эмми, но не рассказывал. К тому времени я уже сомневался, заденет ли ее это. Единственной «другой женщиной» был космос, а не хорошенькая австралийка.

Гай проживает предпоследний день жизни как человек, не замечающий хода часов. Он отсылает центру данные по кораблю, ест вместе со всеми и помалкивает, когда наш разговор ему неинтересен. Мы когда-то были близки, я думаю.

Меня интересует не он. А я, тот, что там. Такой молчаливый, почти угрюмый. Я помню себя полным жизни. А сейчас наблюдаю за происходящим как посторонний. О чем я думаю? О Елене? Об Эмми? Я не помню, какие мысли бродили в голове, пока я настраивался на статью. Я сел за компьютер, сделал еще одну запись и вспомнил,

как говорил Елене, что все они — для нее. Эта — не для нее. Я выспрашиваю у Гая факты и числа по полету, чтобы сдобрить ими новую статью, и он выдает целую вереницу — все это звучит так неинтересно, но, возможно, в этом все, что позволяет нам двигаться и жить.

«Кстати, — говорит он, — мне завтра понадобится твоя помощь для осмотра корабля. Очередная плановая проверка, хорошо?»

«Отлично», — говорит тот я, но я-то помню, что в том выходе не участвовал. Помню, что почему-то проспал, упустил шанс.

«Выходить надо рано, так что ставим будильники, выходим и делаем дело, хорошо?»

«Хорошо», — слышу я свой ответ. Я не вставал. Не выходил наружу. Гай был человеком порядка: сказал — значит, сделает, а значит, он вызвал меня — меня здесь и сейчас, за подкладкой. Мы дошли до моей страницы сценария, и пометки режиссера сделаны жирным курсивом.

Через час, как все снова укладываются, я выползаю из норы. Аптечку Эмми заперла. У меня зуд, ноющая боль от ноги отдает в живот. Все ноет, да оно и понятно. Меня тянет взломать шкафчик, наглотаться лекарств. Я этого не делаю. Мне нельзя себя выдать. Я читаю инструкцию по вы-

ходу в космос, напоминаю себе, как это делается, но читать инструкцию кажется обыденностью. Закончив, я беру переносное устройство, через которое Гай связывался с домом, включаю его и пытаюсь восстановить последнее соединение. Оно с базовым лагерем, изображение размытое, лица теряются в помехах.

«Герхардт? — спрашивают они. — По какому случаю связь? Отказ?» — Я отключаюсь — поспешно, так же поспешно, как подключился, пока они не увидели, кто звонил, — и закрываю аппарат и проверяю, что приложение не действует. Чувствую, что это неправильно. Нутро опять говорит мне: не разговаривай с ними. Вместо этого я тихо плыву к кровати другого меня, вожусь с его будильником, отключаю звонок, чтобы нам не помешали; затем я настраиваю койку Гая, чтобы разбудила его чуть пораньше, чтобы дать нам как можно больше времени. Я вижу его сквозь стекло — он крепко спит. Как будто все это его не касается.

В сюжетах с путешествием во времени бывает, конечно, еще один мотив: разобраться, что происходит. Я иду бриться и принять душ, как могу копирую наружность своего оригинала; рот по возможности стану держать на замке и надую

щеки, чтоб не выглядеть таким отощавшим, и свет приглушу, чтобы замаскировать тенями свою худобу, — а потом я жду в темной каюте, пока прозвенит будильник Гая и зашипит его койка, и тогда я его приветствую и говорю, что не мог уснуть.

— Свет, — говорит он, но я поспешно отменяю команду — прежде чем он, обернувшись, увидит меня спящим в своей койке.

— Дай им отоспаться, — шепчу я, — последние дни выдались трудными.

— Верно, — кивает он. — Конечно, что там. Давай одеваться и выкатываться.

В раздевалке я от него отворачиваюсь и молюсь, чтобы он не заметил шрамов и моей худобы, но он на меня и не смотрит. Упирается взглядом в пол, в свой скафандр, а потом снова и снова проверяет страховочный трос: достаточно ли прочен, не случится ли чего.

Это как езда на велосипеде: говорят, раз научился, уже не разучишься. С дыханием так же. И с плаванием — плывется мягко, свободно и грациозно даже при моем состоянии: так устал, разрываюсь на части, еле жив. Здесь, снаружи, в темноте, плывется как в ночном море — не знаешь, что под тобой, потому что все так темно,

наполнено абсолютным ничем. Я скольжу вокруг корабля следом за Гаем. Он говорит, что надо заново проверить систему управления, потом связи, а потом жизнеобеспечения.

— Ты просто так же придерживай, хорошо?

— Отлично, — говорю я.

— Все эти штуки чертовски хрупкие.

— Конечно, туго тебе без Ванды, — говорю я. Он не отвечает. Мы подтягиваемся к первой панели, и он ее снимает — с головой ушел в тонкую работу. — Почему ты всегда берешь в помощь меня? — спрашиваю я. — Разве с Квинном не проще было бы?

— Зато не так весело, — отвечает он и, обернувшись, улыбается мне. — К тому же тебе полезно прогуляться, так? Полезно вытащить тебя из корабля. — Он снова отворачивается к панели, мне видно отражение его лица, прикушенный кончик языка, прищуренные за работой глаза. — Тяжело, должно быть, смотреть на Эмми с Квинном?

— Это почему? — спрашиваю я, хотя понимаю, о чем он. Хочу, чтобы он сам сказал.

— Ни хрена — а то ты не знаешь почему! Знаешь, не прикидывайся.

— Не знаю.

— Что, ничего не было? О, ну ладно, хорошо.

Сделаем вид, что вы с ней ни хрена не знакомы, так? Что ты ее не имел. — Он смеется.

— Ты забываешь о Елене, — говорю я. — И нечего болтать о чем не знаешь.

Мы ни одной душе не рассказывали, Эмми и я. Ни одной душе. Гай, если Эмми не рассказала, только и может знать, что мы флиртовали, ходили вокруг да около. Или, может, он тогда не спал в самолете. Может, он подслушивал.

— Я-то не забыл, — говорит он. — А вот как насчет тебя, а? — Он закрепляет первую панель. — Зараза, есть проблема. Придется пробыть здесь чуть подольше. Ничего?

Это не вопрос. Мы переходим к панели двигателей, Гай ее отвинчивает, отдает мне инструмент.

— Я вчера слышал твое сообщение центру, — говорю я. Он замирает, с двух сторон ухватившись за панель.

— Так, — говорит он.

— Почему ты нам всем не рассказал?

Он молчит. Все в нем меняется на глазах. Я, пока слова слетали с языка, боялся, что он рассердится, разозлится, полезет в драку, а он вроде бы разочарован. Он сдулся.

— Что за секреты, что нам нельзя сказать? — Нет, это не разочарование. Облегчение. — Зачем

такая секретность?

— Мы не вернемся, — говорит он. — Они хотят, чтобы мы здесь остались. — Он не дает мне переварить сказанное, спросить. Он и так знает, что я спрошу, что хочу знать. — Они хотят, чтобы экспедиция стала славным поражением, чтобы мир объединился, разыскивая нас и в стремлении увидеть то, что мы видели, узнать, что с нами сталось. Где мы нашли свой конец. — Он не выпускает панели, не поворачивается ко мне, даже не думает повернуться. Думаю, ему страшно взглянуть мне в лицо. — Мы останемся героями в вечности — пропавший в космосе экипаж «Исигуро»! Вечное странствие среди звезд! — они срочно снарядят другой корабль на поиски — с большим бюджетом, с государственным софинансированием, потому что как они могут отказаться? Где нас только не было. На обложке «Тайм» — дважды. На коробках хэппи-мил, на банках колы. УПИ не останется без поддержки, и корабль они пошлют вдвое больше, вдвое мощнее. Он увидит то, о чем мы только мечтали. А у нас для того корабля есть маяк, так что они нас найдут и доставят домой для погребения со всеми почестями, и мир нас запомнит. Дошло?

— Нас запомнят, и если мы вернемся. — Меня

трясет. Я буквально трясусь внутри скафандра.

— Конечно, на время запомнят. Но чего мы, в сущности, добились?

— Залетели так далеко, как никто до нас.

Должно быть, в моем голосе слышится отчаяние, мольба: это от гнева.

Гай смеется.

— Думаешь, это кого-то волнует? Кого запомнили? Тех, кто забрался довольно далеко в Антарктиду? Нет, ничего подобного. Запомнили двоих: Скотта, который победил эту гадину, и Оутса. «Я выйду и, может быть, не сразу вернусь», так? Так он сказал, и эту фигню мы запомнили, потому что он пытался и потерпел поражение. Вспомни Эмили Эрхарт, так? Она пропала, и она, черт ее дери, пыталась, Кормак. Она пыталась — точь-в-точь как мы. Мы будем Оутсами, так? Пытались и потерпели поражение. Только того лучше, потому что это еще неизвестно. Еще неизвестно. Никто ни черта не узнает, потому что, когда мы пропадем из Сети, вестей от нас не будет, и они будут годами гадать, что с нами сталось, почему мы не вернулись домой. Почему остались здесь? Откуда им знать, может, мы сами так решили.

— Но кому это нужно? — Я в шлеме глотаю

слезы. Знание мотивов должно бы приносить облегчение. Не приносит. Я в ужасе.

— А так, может, и государство подключится. Космос станет больше, чем был, в нем больше открытий, больше находок. А какие технологии! И мы будем посылать домой результаты, данные по глубочайшему космосу, так глубоко еще никто не забирался.

— Мы и так посылали.

— Еще глубже. Ты подумай — мы и половины горючего не истратили. Нам еще лететь и лететь, и я буду изучать такое, о чем мы даже не знаем. Аномалии, увидеть которые только мечтали. Там что-то есть, Кормак: что-то, что больше нас, что больше всего. Ты знаешь, какую мы искали аномалию? Ни на что не похожую. Ничего подобного мы еще не видели. Веришь? Что-то действительно новое. Мы увидим ее своими глазами, сможем ее описать, открыть тайны космоса. А ты… Твои статьи о нас останутся в вечности! — Он едва ли не умоляет. — Власти увидят, чего мы достигли, и снова станут вкладывать в нас деньги. Не ради нашего спасения — ради того, чтобы увидеть, что мы нашли. — Голос у него срывается, он, кажется, плачет, не знаю, от страха, от жалости или от гордости. — Мы должны стать первопроходцами,

Кормак. Мы исчерпали порыв, а теперь вернем его. Подумай — когда похищают детей, берут заложников, пытаются спасти погибающих в море. Это поднимает новую волну интереса. Подумай, что это сделает с человечеством, — говорит он. Я смотрю ему в глаза — он и впрямь в это верит.

— Кто знает? — спрашиваю я.

— Только я. Ванда знала. Она была в ужасе, но смирилась. Ей, как всем, хотелось остаться в памяти. Оставить след.– Руки у меня дрожат в рукавах скафандра, и мне приходится напомнить себе, что надо держаться, не то бог весть что будет.– Дерьмо, — говорит он. — Тебе знать не полагалось. Так было бы куда проще. Ты бы сам себе написал некролог, смертные судороги и последнее «Ура», так? Его проходили бы в школах по всему земному шару: летопись славного поражения. — Он чуть сдвигается ко мне. — Ты все еще можешь.

— Почему мы? Этот экипаж? И к чему было нас обучать, устраивать всю эту многомесячную херню с подготовкой? Какой смысл, черт возьми?

В этих скафандрах хоть криком кричи — голос в наушниках еле шепчет.

— Кораблю нужна команда, Кормак. Нужны люди, чтобы мир мог за них болеть.

— Но почему именно мы? Чем мы, на хрен, такие особенные, с чего они взяли, что мы годимся в жертву?

— О, это как раз понятно, — говорит Гай. — Мы все одинокие. Все мы без родителей, без детей, без любимых. Пока вы с Еленой не разбежались, я вообще не думал, что ты дойдешь до конца отбора. А потом…

— Елена… — говорю я, и все чернеет, я отпускаю руки и медленно, по спирали удаляюсь от корабля, лицом к звездам, думая о жене и полагаясь на Гая, что он меня спасет.

«Останься», — раз за разом упрашивала меня Елена. Под конец она ни о чем другом и не говорила. Будила меня ночью, набрасывалась на меня, трясла. «Я видела сон, — говорила она, — страшный: я видела твою смерть еще на старте. — Она плакала, опустив мне голову на грудь. — Господи боже, Кормак, останься. Пожалуйста!»

«Да что с тобой такое?» — спросил я ее однажды, вовсе не желая, чтобы это прозвучало как прозвучало, или, вернее, желая, но не ожидая, что прозвучит.

«Мы столько прошли вместе, я не выдержу одиночества», — говорила она. Она перебрала все способы убедить меня остаться, ведь она была

хрупкой — сломалась, а мне дела не было. Она говорила мне, что беременна, а я знал, что лжет, но подыгрывал, пока не смог доказать, пока мы не оказались у врача, к которому я заставил ее обратиться, и он прямо не сказал нам, что ничего подобного. Она говорила мне, что больна, а не была — не в том смысле, что подразумевала.

«Не могу видеть тебя такой», — сказал я ей.

«Ну почему тебе мало меня?»

«Может, тебе съездить ненадолго к матери?»

«В Грецию? В другую страну хочешь меня отправить?»

«Нет, я не то имел в виду».

Старт был назначен через месяц после того разговора, и она купила билет на самолет и улетела, не сказав мне, а потом позвонила из Афин, орала в трубку.

«Ты этого хотел, — сказала она, и я привалился к стене на кухне и заплакал, потому что разве я мог что-то для нее сделать? Разве когда-нибудь делал? — Зачем ты вообще со мной живешь? — спросила она. — Если так влюблен в свою долбаную работу, с ней и оставайся. Забудь обо мне. Забудь, что у нас было. Зачем мы вообще сошлись?»

«Не знаю», — сказал я. Она бросила трубку, а ко-

гда я перезвонил, телефон гудел, гудел, и я будто видел, как она кричит матери, что пусть звонит, она знает, кто это, и не желает больше со мной разговаривать.

Гай хватает конец страховочного троса и подтягивает меня к кораблю. Кажется, он неподдельно озабочен. Не знаю, за меня или что я могу теперь выложить все остальным. Он подтягивает меня к себе, берет за грудки скафандра и заглядывает в глаза.

— Ты со мной? — спрашивает он. Я не совсем понимаю, что он хочет сказать. — Нам надо заканчивать.

Инструмент так и остался у меня в руке — что-то вроде электродрели, только закрытой чехлом, и острый конец как толстая вязальная спица. Я бы мог, соображаю я, мог бы его вырубить, швырнуть инструмент ему в лицо, метнуться в корабль и рассказать команде, что он пытался сделать. Я вспоминаю свой первый раз — как Квинн хотел развернуть корабль, изменить курс и не сумел, и я понимаю, чем занимается здесь Гай: он портит, ломает корабль, а я ничего не могу с этим сделать, потому что этому предназначено случиться.

Вот так сбывается судьба. Я с Гаем в космосе и придерживаю для него обшивку, пока он режет

провода и переключает что-то, разрывает контакты. Ему это все так просто, что он с его докторской степенью в астрофизике и технике напортачить никак не может. Вот как мало ему доверяют. А я подаю ему инструмент, когда нужно, позволяю закрепить панели особыми винтами, какие находишь в глубине домашней техники под наклейкой: «Если сломалось, обратитесь к производителю», и я смотрю, как он объявляет, что закончил, и висит, прикрепившись к обшивке, и, кажется, о чем-то думает.

— Ты понимаешь? — спрашивает он меня.

— Нет, — говорю я.

— Ты решил сказать Квинну и Эмми, так? Хорошо, я понимаю. Пусть знают. Может, я сам им скажу.

— Нет, — говорю я. Он не спрашивает почему, но я ему говорю: — Не надо им знать, что умрут. Никому не надо этого знать. — Он кивает. Ему осталось меньше часа жизни, и какое искушение — наперекор своему слову сказать ему, посмотреть, как он отреагирует, но я молчу. Нутро не велит.

Я не знаю, как мне предполагается действовать дальше. Полагаю, все разъяснится. Сняв шлем, он на меня не смотрит. Мы проходим за переборку

раздевалки, он сбрасывает все, идет в душ, глядя мимо меня. Головы он не поднимает. Я вешаю скафандр и бросаюсь по коридору к подкладке, прячусь за ней. Я наблюдаю, как Гай обсыхает, одевается и движется к жилым помещениям. Тот я, как всегда, за компьютером, будто уже сраный труп, горбится над столом, еле тюкает по клавишам. Эмми с Квинном завтракают.

«С добрым утром», — обращается Квинн к вошедшему Гаю.

«С добрым», — мычит Гай. Я смотрю, как он берет себе батончик, садится на скамью с ними рядом и молча ест. Он все прокашливается, будто хочет заговорить, и держится за бок. Скоро провалится в каньон коридора. Тот я его игнорирует. Эмми его игнорирует. Квинн заводит разговор, когда Гай, доев, начинает вставать. Я смотрю, как игроки выходят на позиции: Гай придерживается за стол, но плавает посреди каюты; Квинн напротив, но в глубине, ближе к кабине; Эмми еще сидит за столом; и я за компьютером выворачиваю голову, чтобы их видеть, и я здесь, на подкладке. Я переползаю, чтобы лучше видеть, подтягиваюсь вплотную к решетке и прижимаюсь глазом к прутьям.

«Можно двигаться», — говорит Гай, и Квинн на-

жимает кнопку. Заводятся двигатели, и команда хватается за мебель, чтобы не уплыть.

«Гулял?» — спрашивает Квинн. (Мы часто так говорили, хотя какая там прогулка: так непохоже на прогулку, что слово звучало незнакомо, приобретало вдруг другой смысл.)

«Неполадки со связью», — бубнит Гай. Он никого не убеждает, да никто, в сущности, и не вслушивается в его слова. Мы ждем, чтобы Квинн переходил к следующему — к тому, что мы обсуждали, пока Гая не было: что одиночный выход в космос нарушает правила и мы ему больше не доверяем, так что голосуем за разворот корабля и возвращение, что бы там кто ни приказывал.

«Ты вышел один, — говорит Квинн. — Ты же знаешь, что инструкция запрещает».

«Не один, — отвечает Гай, — с Кормаком». Эмми с Квинном вопросительно смотрят на меня. Он пожимает плечами.

«Я был в душе», — говорит он и в доказательство ерошит свои влажные волосы.

«Какого хрена? — спрашивает Гай. — Ты же был со мной. Скажи им!» — Он уставился на меня в кресле перед компьютером, умоляя его поддержать. Тот и не думает. Он растерян, потому что действительно не понимает, о чем толкует Гай.

«Я готов был выйти с тобой, как ты просил. Подумал, что ты решил обойтись без меня», — говорит Кормак. Гай белеет, у него отвисает челюсть. Он сомневается в себе; он гадает, не померещилось ли ему случившееся.

«Мы тут поговорили и поворачиваем назад, — говорит Квинн. — Что бы ты ни говорил, Герхардт, потому что нам уже тошно, и мы намерены повернуть. Что-то идет не так. — Он вдруг снова лидер — сильный, харизматичный, обаятельный. Не будь меня там с Гаем, мог бы и убедить. — С твоей помощью или нет, мы летим домой».

«Не выйдет, — шепчет Гай. — Что-то отказало в… э… э… э в управлении двигателями. — Он глазами зовет меня на помощь, но встречает тупой взгляд, потому что тот я не знает, о чем он говорит. — Ну же…» — умоляет он и шарит глазами, обшаривает взглядом все углы в поисках доказательств, что не сошел с ума, и тут он видит меня за решеткой — мальчика из сказки, припавшего к заиндевелому стеклу игрушечного магазина. Он видит меня, мы встречаемся глазами, и я не понимаю, как это он единственный меня увидел, взглянул точно под нужным углом, чтобы заглянуть в щели решетки, и я понимаю, что это неслучайно: так было предназначено, это судьба.

Ему суждено было меня увидеть, он и увидел. Я стану причиной того, что сейчас будет. Он впивается в меня взглядом и мгновенно узнает. Это всегда видно по глазам — узнавание, и в глазах Гая я его вижу. Он видит меня и понимает. Гай ахает и хватается за грудь, и у него отказывает сердце. Я знал, что так будет, что я должен здесь быть, чтобы его добить, потому что все дело во мне, все здесь держится на мне. Он хватается за грудь, потом выпускает стол, отлетает и проваливается в коридор. Квинн несется за ним, Эмми отстегивается, чтобы сделать то же самое. Обе версии меня смотрят, как он умирает, как они расстегивают на нем одежду и пытаются снова запустить сердце, а он вскидывает руки, сдавшись, поняв, что сражался за проигранное дело, а они силятся его удержать, но не могут, а когда им наконец удается, он перестает двигаться — всё одновременно. Они сами не знают, победили они или проиграли. Я вижу, как Эмми плачет — не потому, что любила Гая, а потому, что это уже слишком. Это уже слишком — все эти смерти, трагедии, и все совсем не так, как она ожидала. Она захлебывается слезами.

«Поворачиваем и летим домой», — говорит Квинн, решив, что так и будет. Хотелось бы мне

предупредить, что и его ждет разочарование. Хотелось бы, но я не буду и не могу.

7

Эмми уговаривает нас с Квинном, что все будет хорошо.

«Мы вернемся домой, — твердит она, хотя едва ли сама себе верит. Полет сократил команду вдвое, снизил нашу численность на 50 %. Мы в ловушке, и она это понимает. — Это так или иначе случилось бы, — говорит она, пока мы укладываем Гая в койку. — Этот полет — такая нагрузка на организм, такое напряжение. Это так или иначе случилось бы».

Она вроде бы утешает нас обоих, но на самом деле все это для Квинна. Это он завел спор, он чувствует себя виноватым, что наорал на Гая и довел его до сердечного приступа, разрыва, остановки. Я тогда не чувствовал за собой никакой вины, потому что нечего было чувствовать. Я их поддерживал, но в драку не лез. А вот теперь совесть не дает мне покоя. Эмми пытается быть сильной, но этот бой уже проигран.

«Мы развернемся, доберемся до дома и всех их похороним».

Она даже не старается себе поверить, если по правде.

* * *

Для последнего отбора в команду они оставили девятерых. Я, Эмми, Квинн, Гай, Ванда, Арлен и еще помощник инженера (гораздо квалифицированнее Ванды, но гораздо самоуверенней, из тех мудаков, что при случае говорят о себе в третьем лице), еще один пилот (способный заменить Квинна или Арлена, иерархия их ролей еще не установилась), но чуть более дерганый, не так спокойно принимающий идею — возможность — погибнуть, высокие риски в случае какой-то неполадки, и всего один оставшийся журналист — журналистка. Ее звали Терри, была она американкой азиатского происхождения. Она напоминала об этом всякий раз, как кто-то причислял ее к одной из этих этнических групп, — поправляла, обиженно взвизгивая. Она была сама целеустремленность. Я умудрился за время собеседований и подготовки ни разу с ней не пообщаться, потому что мы претендовали на одно место. Нам не было смысла притираться, потому что в реальной жизни мы бы вместе не оказались. Эмми с Гаем были постоянным составом. При любых изменениях попадали в группу. Они знали, что место за ними, стоит только захо-

теть, и оба хотели. Терри терпеть не могла Эмми, а Эмми — ее. Гай над этим смеялся, когда ни той ни другой рядом не было.

«Воинствующие кролики, — говорил он. — Не видели, как дерутся кролики? Страшно смешно, они ни хрена не стараются. Будто в клее увязли, напрягаться не желают, но победить все же хотят. Эмми на нее времени не тратит, но, если бы потратила, точно отбрила бы. Вроде как: „Провались ты, сучка“, только без слов».

Ему было смешно. Он даже прислал мне ролик с дерущимися кроликами, пока мы ждали объявления окончательного состава. У Терри никого не было. Думала только о работе, о карьере. Остальное — в помойку.

«Ее возьмут, — сказал я, когда ждать оставалось несколько дней. Мы знали, что окончательный состав объявят неделей позже, но до решения оставалось несколько дней. — Ее возьмут». Мы с Эмми, Квинном и Арленом выпивали, хоть нам и велели сторониться этого дела. Мы знали, что мы четверо хотим попасть друг с другом в команду. Мы бы составили хороший экипаж — крепкий, спаянный, сработавшийся. Мы бы преодолели любые препятствия, образцовая команда. Вот только Эмми не хотела садиться со мной рядом.

Кроме как в компании, мы с ней не разговаривали.

«Не возьмут ее, — сказал Квинн. — Ты читал ее материалы? Пустышки. Ее не возьмут».

Квинн нажимает кнопку, двигатели выключаются, и возвращается сила тяжести. Я смотрю, как мы с ним поднимаем Гая и переносим в койку — что следовало бы сделать раньше, потому что тело у него тяжелое, сплошные мышцы, даже то, что мы принимали за брюшко, — и пристегиваем, закрепляем в койке.

«Он такого не заслужил», — говорит Квинн. Заслужил, думаю я. Знал бы ты, что я знаю. Но он не знает и не узнает. Он закрывает койку, ставит кислород на минимум, понижает температуру — фактически это означает не греть капсулу, предоставив сохранять в ней холод и заморозку тела окружающему вакууму, — и герметизирует ее.

«Возвращаемся, — говорит он. Это не вопрос и не тема для обсуждения. — Надо будет известить центр, но экспедиции конец». Он просит меня закрыть, над чем там я работал — пост для блога, то немногое, что может дойти с такого расстояния. Я закрываю. Я смотрю, как я сохраняю текст. Закрываю программу и выхожу. Квинн

включает связь, но на канале одни помехи. Он выключается, заходит снова — и опять ничего. Он просит меня помочь, потом окликает Эмми — она в раздевалке, плачет и прячется от нас, но мы знаем — и все мы следим, как он выключает связь, включает, орет на экран, лупит ладонью по компьютеру.

«Идем домой, — говорит он. — Я поворачиваю». Следующие двадцать минут он таращится на экран, вбивает пароли, пытаясь активировать программу, но все впустую.

«Твою мать, — говорит он. — Не войти в систему».

«Как это понимать?» — спрашивает Эмми.

«Так и понимать, что курс нам не сменить». — Он вздрагивает и опять трудно дышит (его дыхание — ложный след, оно ни на что не влияет. Он погибнет, разбив голову о стену. Я до сих пор гадаю, связано ли это со мной).

«А просто развернуться ты не можешь?»

«Нет, — говорит он, — так не выйдет. Ему заданы координаты, и корабль движется только в том направлении. Ручное управление не включится, пока мы не пойдем на приземление и не будет задействовано посадочное устройство. А так все на автоматике. Было задумано, чтоб все работало, а

если нет, мы могли бы взломать систему и ввести координаты, и… — Он бледен, выглядит больным. Он просит меня выйти с ним на корпус. — Придется проверить установку связи», — говорит он. Я подумываю, не сказать ли ему, избавив от лишнего труда, но, поигрывая с этой мыслью, я уже знаю: такого не будет. Чему быть, того не миновать. Моему нутру больно от одной мысли о нарушении предназначенного.

Я слежу, как они надевают скафандры, а потом смотрю на Эмми, одинокую, жестоко потрясенную. Она ушла в себя. Сидит и обгрызает пальцы у ногтей, потому что на ногтях идеальный маникюр, не один месяц ухаживала, а мясо быстро заживет. Она не кусает до крови, только обкусывает сухую кожицу у самого ногтя. Она долго смотрит на Гая, прежде чем усесться наконец в кресло в кабине, где мне ее не видно. Я дрожу и потею, спина мокрая, футболка липнет к коже. Это начинается ломка. Квинн со мной за бортом, только они не знают, что искать. Никто из них не видел, что поломал Гай. Я видел. Если суждено починить, сумею только я — теперь.

У меня все болит. До сих пор я не ныл. Нытье не прописано у меня в генах. Елена злилась, говорила, что я с чем угодно готов носиться, а болезни…

Я делал вид, что неподвластен болезням.

«Ты и думать не хочешь о том, чтобы признать поражение, — говорила она. — Не признаешь, что ничего такого нет в том, чтобы уступить. — Она меня дразнила, потому что я не желал выключаться и делал себе еще хуже. Заболею гриппом и целую неделю не отпрашиваюсь по болезни, чтобы закутаться в одеяло, есть супы и смотреть телевизор — притормозить. Работа для меня много значила. Насморк не мешал мне писать. То, что желаешь, хранишь. — Отлежался бы хоть день, сразу бы полегчало, — говорила она и совала мне под нос витамины, которые глотала по утрам. — Малость витамина С избавила бы тебя от простуд, и тебе бы не приходилось то и дело притворяться здоровым».

«Я нормально себя чувствую», — говорил я, хотя и не чувствовал. А вот сейчас я бы признал поражение. Этот озноб, он пробирает насквозь, до того, что слышен стук зубов и скрежет в ушах. Я локтями и коленями чувствую металл решетки, на которой лежу, на мне все промокло, как после первого пробуждения в капсуле — я взмок, с меня течет, хватаю ртом сухой воздух, голова болит от пробирающей меня дрожи. Это слишком. Я закрываю глаза и пытаюсь уснуть, но даже сейчас

мне это едва удается — слишком громко дребезжат в ушах кости, — и я молюсь, чтобы скорей включили двигатели, чтобы заглушить их, или дать мне уснуть, или притвориться, что сплю. Должны включить. И как бы у них не кончился воздух. Этот корабль — красавчик: если он не движется, команда погибает. Если движется — команда погибает. Идеальная замкнутая система, совсем как время.

Квинн, вернувшись, шагает обратно, бросает инструмент — ручной вариант того, что вышвырнул в темноту Гай (тот теперь, пожалуй, стал спутником на какой-нибудь далекой орбите) — и орет, ни к кому не обращаясь. Я помню, как мы там с ним с трудом открывали ниши в поисках повреждений и понятия не имели, что делать. Вернее, он знал, как это должно выглядеть, но выглядело-то иначе, потому что Гай постарался. В корабле я наблюдаю, как Квинн снова открывает приложение связи.

«Можно попробовать аварийные частоты, — говорит он. — Их должны отслеживать, так что поймают сигнал».

«Остаемся здесь?» — спрашивает его Эмми со своего наблюдательного пункта в кабине.

«С места не двинемся». — Мне не виден экран,

показывающий, сколько осталось кислорода, но я помню, что, когда погиб Квинн, мы двигались, значит, уже скоро, потому что у него пошел предпоследний день. Как и смерть Гая, гибель Квинна — трагическая неизбежность, потому что она — константа, я не могу ее изменить.

Остаток дня Квинн пробует аварийные частоты, но и на них ответа нет. Даже помех системы не слышно: если связь не установлена, все совершенно, абсолютно черно. Здесь нет настройки частот, нет ручного переключателя, нет выбора. Есть клавиша центра и есть аварийная — на каждый случай своя кнопка. Я не могу сказать Квинну, что все напрасно, которую бы он ни выбрал, но, глядя, как он тычет то в одну, то в другую кнопку и раз за разом повторяет одно сообщение: «Ответьте, центр, кто-нибудь, говорит „Исигуро“», — я думаю, он сам знает. Скажи я, это ничего бы не изменило: он все так же будет колотить по экрану, добиваясь, чтобы тот вдруг понял, чего от него хотят. В конце концов мы с Эмми уходим в другие помещения — она в раздевалку, я в коридоры, по которым расхаживаю туда-сюда, лишь бы не слышать его стука. Я с подкладки смотрю, как он сидит перед экраном — вплотную, сосредоточенно, внимательно, увлеченно работает.

Они спят при включенной гравитации, не теряя веса. Я гадаю, сколько потребуется, чтоб инерция иссякла, если мы здесь движемся без конца, что бы ни делали. На скорости, которую набрали, пока работали двигатели, это неудивительно, даже при слабой обратной тяге при выходе на полную остановку. Я гадаю, сколько нам потребуется, чтобы набрать предельную скорость, а когда ее наберешь, если ничто тебя не останавливает, остановишься ли вообще когда-нибудь? Оказывает ли космос сопротивление?

Я крадусь, потому что у меня вдруг появился звук шагов. Я оставляю ботинки за подкладкой и пробираюсь на цыпочках, чтобы никого не разбудить. От каждого звука мне чудится, будто кто-то на меня смотрит, что призраки умерших еще здесь. Гай, Ванда, Арлен подсматривают, как я крадусь. Я чувствую, как шатается еще один зуб, и скребу себе щетину, и все ребра до единого ноют. Вот отброшенный Квинном инструмент; я его поднимаю, пристегиваю на пояс. В раздевалке натягиваю скафандр и двигаюсь к шлюзу. Наружную дверь закрываю совершенно беззвучно — насколько могу беззвучно — и выпускаю себя из шлюза, нажав кнопку. Страховочный конец я прикрепил сам — я держу себя в руках. Я

выплываю на корпус и зацепляюсь за обшивку. Нутро горит, предупреждая, что нельзя мне этого делать. Но я делаю. Я еще ничего не изменил. Я продвигаюсь к обеим панелям, что открывал Гай, снова их открываю и смотрю, что он натворил. И ничего не вижу. За панелями провода, некоторые подключены, некоторые перерезаны, некоторые провисают. Я не понимаю, что он тут делал. Я отвожу провода в сторону, ищу картинку на нижней стенке — как под капотом автомобиля, где значками обозначены вода и масло, — но там ничего. Провода провисают, я укладываю их на место, и теперь они выглядят иначе. Один из них провисает сильней — толстый и тугой, как клубничный сироп. Он не закреплен, висит отдельно, а выглядит так, будто должен быть частью чего-то, будто у него есть назначение. Я подумываю его подключить, но нутро не велит. Не знаю, что будет, если его подключить. Не думаю, что хотел бы знать. Я даже не знаю, к какому контакту он подключается, как же мне поставить его на место? — говорю я себе. Любой вариант может быть бесполезен. Я закрываю панель и перебираюсь к следующей. И опять же не знаю, чего ищу. Я надеялся увидеть искры, царапины, грубые обрывы. Ничего такого. Что бы ни сделал

Гай, так и должно было быть, или это можно было легко скрыть. Ничего я не могу починить. Я возвращаюсь к шлюзу, и зуд в животе слабеет, возвращая меня в колею.

В раздевалке, укладывая скафандр на прежнее место, я гадаю, не пропустил ли свой день рождения, что происходит с датами в таких вот случаях, в путешествиях во времени.

Квинн встает первым. Он лупит по моей койке, зовет вставать. Нет ответа. Он кричит, чтобы я вставал.

«А что Эмми?» — спрашивает тот я.

«Пусть спит», — говорит он.

Мы сидим с ним в гостиной, и он спрашивает, имею ли я представление, что сделал Гай.

«Хоть какое-то?»

«Ни малейшего, — отвечает тот я. — Извини». Он говорит, что собирается наружу, и я напоминаю, что одному выходить не положено, но он не слушает.

«Придется так, — говорит он. — От тебя мне нужно, чтобы ты говорил мне, меняется ли что-то на компьютере. Просто нажимай возврат, когда я скажу. Договорились?» — Он подключает микрофон шлема к компьютерным наушникам, которые надевает тот я, и выходит в шлюз. Здесь,

внутри, нам ничего не слышно. Тот я то и дело по его команде нажимает клавишу компьютера, но ничего не происходит. Квинн иногда орет в микрофон, бранится, лупит по обшивке. Иногда мне почти кажется, что мы его слышим. Он возвращается хмурый и уходит к двигателям. Он закрывает за собой дверь; тот я сидит за компьютером, печатает и от нечего делать разглядывает космос и все вокруг. Он ничего не понимает. Через полчаса просыпается Эмми.

«Где Квинн?» — спрашивает она того меня, и тот ей объясняет. Она садится с ним рядом и спрашивает, чем он занят.

«Он искал способ нам развернуться. Может, думает, что сумеет что-то сделать с двигателями».

«О-о», — говорит она. Я наблюдаю, как мы не разговариваем, и гадаю, что между нами произошло, потому что не помню, как мы до такого дошли. Не помню, чтобы между нами все было так плохо.

«Ты в порядке?» — спрашивает она того меня, и я/он с улыбкой поворачивается к ней.

«Отлично», — говорит он. Он пожимает плечами, и она отворачивается.

«Поищу-ка я Квинна», — говорит она, и тут он появляется, машет нам из коридора. Мне отсюда

видно, что он глядит с подозрением.

Елена все упрашивала меня выйти из программы — даже когда имена предпоследнего отбора просочились в прессу — не от меня и не от нас, и мы предполагали, что это такая стратегия, преднамеренная утечка, — и пресса уверенно была за меня против Терри и других журналистов. За Эмми, Арленом, Гаем и Квинном места были уже закреплены, и за Вандой тоже, так что за последнюю вакансию состязались мы с Терри. Остальных опрашивали: кого бы они предпочли видеть в полете.

«В первую очередь товарищеские отношения», — говорили они и просили команду отвечать честно. Все они сказали мне, что выбрали меня, даже Эмми, хотя мы с той ночи почти не разговаривали. Она отвела меня в сторонку и сказала, что надеется, мы это преодолеем.

«Слушай, — сказала она, — мы отлично ладили, ну, а это просто глупость. Все позади, так? Такое часто случается, и люди с этим справляются, а я куда охотнее просижу месяц в консервной банке с тобой, чем с ней. Ну, что скажешь?» Она протянула мне руку для рукопожатия, но я ее просто обнял. «Я по тебе соскучился», — сказал я, не покривив душой. Она прижалась и пристроила

голову мне на грудь. Для меня это все еще было слишком интимно, но я промолчал.

В тот же вечер я сказал Елене, что остался одним из двух. «Только я и та женщина, а она не тянет. — Елена будто не слышала, гоняла еду по тарелке, жевала, пока я ждал ответа. — Остальная команда за меня, и начальству так сказали. Можно надеяться, что лечу, — сказал я. — Представляешь?» Я не говорил, но надеялся, что она вдруг опомнится, скажет, что гордится мной и хочет, чтобы я полетел. Сказала бы, что понимает, но это больно, она будет скучать, что, когда я вернусь, мы начнем с того, на чем расстались, потому что для нее это много значит.

«Не улетай», — вот все, что она успела сказать перед обмороком. Я забрал ее от стола, уложил на спину, убедился, что она в порядке — дышит, а она дышала, — и после того перенес в спальню. Очнувшись, она сказала мне, что хуже меня на свете нет человека, что, если бы я ее любил, ни за что бы не улетел. Спор перерос в ссору. Она в меня чем-то швырнула — книгой? — и попала в голову над ухом. Я в нее ничем не швырялся. Она отшатнулась, спряталась за кровать, будто я готов был ее ударить, а я только и хотел, чтобы она успокоилась.

«Не надо так делать», — сказал я.

«Это ты виноват, — сказала она. — Ничего хуже ты сделать не мог. Бросить меня, когда я была такой счастливой. Зачем ты с нами так поступил?»

Потом, желая причинить ей боль и не имея другого оружия, ничего подходящего, я рассказал ей про Эмми и нашу ночь в гостинице.

«Охренеть как тупо», — говорит Квинн. Мы обедаем, отчего я за подкладкой чувствую голод, потому что так сосредоточился на том, что вижу, так хочу досмотреть до конца, ни секунды не упустить (вдруг это важно, вдруг это надо передать следующей версии меня, чтобы он смог с этим покончить), а я давно ничего не ел — и пытаемся сообразить, что не так с кораблем. Я мог бы разыграть открывающийся занавес, откровение — вывалиться из вентиляции и прокричать во всеуслышание о злодеяниях Гая и злодеях, мерзавцах из УПИ, вздумавших принести нас в жертву во имя прогресса человечества, — но не стану. Я и без сновидений (эхо?) знаю, что ничего не выйдет, что меня перезагрузят, не дав закончить рассказ, дикую теорию заговора, которую людям страшно как следует выслушать. Эмми спрашивает, не мог ли Гай что-то сделать, и Квинн его защищает — без души.

«Он говорил, что там проблема, и пытался исправить», — говорит он, и я слышу в его голосе сомнение.

«Мало ли что он сказал, — отвечает Эмми. — Мог и соврать».

«Что будем делать?» — спрашивает тот я.

«Есть еще один способ, — говорит Квинн, — но надо будет переписать код. — Он на секунду задумывается. — Ты мог бы выйти в космос, сделать что надо? Ты эти панели видел, да? Внутрь заглядывал?»

«Да, — говорит тот я, — один раз».

«Ладно. Я объясню, что надо делать, и ты справишься, да?» Он весь — уверенность, поддерживает мою веру в себя. Этими словами он говорит, что моих умений хватит. Ты, Кормак, способный. Он встает, подходит к компьютеру, выводит схемы и показывает мне провода, как они должны выглядеть. «Возможно, какие-то соединения нарушены, — говорит он, — и тебе надо будет подсоединить, восстановить их, но какие именно, я не знаю. Когда до них доберешься, попробуй менять так и этак — зачистить сумеешь? И скрепить зажимом? А я тем временем попробую отсюда ввести код. Ты мне говори каждый раз, как меняешь соединение, а буду вводить. — Он

что-то замечает по моему лицу. — Не нервничай, — говорит он. — Ты же будешь на страховке, я в случае чего тебя вытяну, да это и недолго. Не больше часа».

Он посылает меня одеваться, и я медленно ухожу по коридору.

«Он справится?» — спрашивает Эмми. Квинн кивает. Он притих — что-то переменилось. Я прежде его таким не видел — не замечал, или этого не было. Это что-то очень личное, потаенное, но я все же присматриваюсь. Он идет за тем мной, следит, как я одеваюсь, объясняет еще кое-какие мелочи, а потом говорит, что закрепит мне страховочный трос, и закрепляет, надежно, а потом говорит, что откроет шлюз. Я помню, как стоял там, ужасаясь предстоящему одиночеству, а Квинн внушал мне, что все будет хорошо, ободрял с совершенной уверенностью, а потом нажал кнопку, и в ту же секунду я оказался снаружи. Сейчас я слышу, как закрывается герметичная дверь, но не вижу, как меня вытягивает на свободу. Мне это ни к чему, потому что я помню, как это было вчера.

Я помню чувство совершенного одиночества в первые несколько минут — такого одиночества, какого еще не бывало, потому что там был только

я, металл и звезды. Я помню мысль о том, что будет, если я перережу трос, отпущу себя плыть, бороздить пространство — человек-спутник, луна, комета. Рассказывали про одного астронавта — не Армстронга и не Олдрина, — как он провел полчаса на темной стороне Луны без всякой связи, отрезанным от всего на свете. Он говорил, что было одиноко, но величественно. Один на один со Вселенной. Ради того и был затеян наш полет: ради величия. Я мог бы плыть в поисках бога, пока не кончится кислород, а потом я бы умер, но, может быть, удовлетворенным. Я помню, как подтягивался на тросе к кораблю, к навигационной панели, и принимался за долгую возню с винтами.

Я на корабле слежу, как Квинн возвращается в каюту к Эмми.

«Это Кормак, — говорит он, — а не Гай. Гай сказал, что выходил с ним, так? А Кормак это отрицал, сказал, что был в душе, но я посмотрел записи, так он выходил, как Гай и сказал. — Мы записывали все происходящее на обшивке. Я забыл. Снаружи корабля стояла камера, нацеленная на корму, и записывала все, потому что в случае физической поломки техникам на Земле так проще всего было установить, что именно

сломалось. — Я посмотрел запись — он на ней был, выходил с Гаем, помогал Гаю, как он и сказал. И вот что заметь: он снова выходил прошлой ночью, пока мы спали, и открывал панели — какого хрена ему понадобилось вскрывать панели? Что он там делал? Я думаю, он… он саботажник. Точно не скажу, но как-то он с этим связан — с нашим положением».

«Кормак не стал бы этого делать, — говорит Эмми. Она в меня верит. Так суждено, надо полагать. — Он не такой».

«Ты за него не заступайся. Он наврал о жене, — говорит Квинн, — а это не мелочь, да? Солгал там, мог солгать где угодно. И для чего ему жить-то теперь? Он слетел с катушек».

«Не слетал он с катушек».

«Да брось, Эмми. Ты же знаешь, ты знаешь его лучше всех нас благодаря психологии. И ты была с ним. — Видно, что ее это укололо. Я не знал, что Квинн знает. Должно быть, ему Эмми рассказала. — У него голова не в порядке. Зачем ему было нам лгать? Какой смысл?»

«Не надо».

«Это его диверсия — их с Гаем. Они, должно быть, вместе поработали. Он хочет… не знаю, чего он хочет. Хочет нас убить». У него дрожит подбо-

родок, руки сжимаются в кулаки, а Эмми хватает воздух, как будто каждые несколько секунд получает новый удар, как будто все это не умещается у нее в голове. Я — здесь, за подкладкой, — знаю, каково ей. Я ничего об этом разговоре не знал. Понятия не имел.

«Что нам делать?» — спрашивает она, как видно, решив, что он прав, засомневавшись вдруг, позволив себя убедить.

«Не знаю», — говорит Квинн, и тут тот я, что на корпусе, виновный, пока не доказано обратное, через динамик спрашивает Квинна, что ему делать.

«Панель открыл, — говорит он. — Вижу провода. Который первым подключать?»

«Начинай слева, — говорит Квинн. — Дай мне знать, когда управишься». Он не подходит к компьютеру, нет там никаких тестов, вычислений, кодов, чтобы их менять или переписывать. Он думает, что я там уже побывал, что и сам знаю, что делать. Он просто выиграл время на размышление, время подумать, что со мной делать. Я уже знаю, что ничего у него не выйдет.

Я слежу, как они расхаживают по каюте, обсуждают это дело. Эмми за то, чтоб меня связать, оставить в кладовой.

«Там никто не бывает», — говорит она, и я глотаю смешок, но Квинн своих карт не раскрывает. Я знаю, что он скажет, раньше, чем он открывает рот, а когда слово вылетело, назад уже не возьмешь.

«Мы могли бы просто закрыть шлюз», — говорит он.

«В каком смысле?» — спрашивает Эмми, хотя прекрасно его поняла. Если притвориться непонимающей, разыграть дурочку, можно сделать вид, что ей это и в голову не приходило. Это Квинн придумал, сможет сказать она — себе или какому-нибудь трибуналу, если она еще надеется на спасение.

«Закроем наружный люк, он перерубит страховочный трос». — Говоря это, он на нее не смотрит. И она, обдумывая, не смотрит на него.

«Он умрет», — говорит она.

«Да».

«Думаешь, нам надо его убить? По-твоему, он это заслужил? Он не убийца».

«Убийца. Он пытается помешать нам вернуться, Эмми. Не вернувшись домой, мы умрем. Будем лететь, лететь, пока не умрем, когда кончатся продукты или кислород, и все тут. К тому же, — говорит он, — может, это он испортил Ванде

скафандр». У него нет никаких оснований, это была случайность, но и того достаточно. Подытожить все мои дела — и вина доказана. Тот я на обшивке закончил с предпоследним соединением. Он сообщает Квинну, а Квинн говорит ему, что не сработало. «Пробуй дальше», — говорит он.

«Ладно, — произносит мой голос. — Уже последний. Я скажу когда».

«У нас всего пара минут, — говорит Квинн. — Я решил».

Он встает и идет по коридору к шлюзу. Эмми бежит за ним, молит перестать, хотя я по голосу слышу: не всерьез.

— Да, — говорю я, — перестань. — Меня трясет, мне больно, и нутро устало, голодно и болит, и голова болит, но этого не будет. Я не умер там, в космосе. Я вернулся и застал Квинна мертвым. Эмми его убьет. Она убьет его за меня. Спасая меня. Я провожаю их по коридору к шлюзу, не опасаясь нашуметь, потому что их здесь уже нет, они застряли в своем мире убийства, слез и предполагаемого безумия Кормака Истона.

«Готово», — говорит я снаружи через динамки.

«Не вышло», — говорит Квинн. Он стоит у панели управления перед шлюзом.

«Тогда я возвращаюсь, — говорю я. — Надо

было тебе попробовать. Я вообще ничего там не понимаю». В моем голосе разочарование. Я и правда хотел всех спасти. Квинн не отвечает. Он начинает вводить код допуска, и я смотрю, когда же Эмми сделает свой ход, но она не делает. Она не двигается с места, дрожит и плачет. Он смотрит на нее.

«Так будет правильно», — говорит он — не спрашивая, а утверждая, но она все равно кивает, разрешая ему. Это не она, это я. Ничего другого не остается. А если не я, все перезагрузится, и следующий я как-нибудь да узнает. Я пинком выбиваю стену и бегу, мгновенно оказываюсь в коридоре, врезаюсь в Квинна всем своим ста-с-чем-то-фунтовым изношенным, хилым телом, ударяюсь о его твердые мышцы, и он вполне мог бы со мной справиться, если бы я не ухватил его за голову, застав врасплох, и не врезал бы его черепом по стене с такой силой, что звук как от захлопнутой двери.

Только и всего: у него трескается череп, и он оседает под моим жалким весом. На белой стенной панели остается красный след — донизу. Кровь уже собирается лужицей, когда Эмми взвизгивает. Я смотрю на нее, и она видит меня, и лицо у нее, будто она смерть увидела, и все-таки

она не поняла, не по-настоящему, и тут я слышу, как тот я, что был снаружи, лезет в люк, слышу, как люк начинает закрываться и механизм рокочет на весь корабль. Мне пора, понимаю я, возвращаться в стену, но Эмми этого не видит, она занята: уставилась на уже мертвого Квинна на полу и визжит. Я слышу, как тот я снимает шлем, спрашивает ее, что случилось, потом видит тело и говорит ей, какая жалость, спрашивает, что произошло, но говорит он слишком быстро, не то скороговорка, не то лепет, поэтому он делает то, что считает должным, что считает уместным: обнимает ее, чтобы утешить, но от этого она визжит еще громче, а он думает, что это реакция на смерть, и удерживает ее, обхватывает крепче, а она отбивается, и ее ладони оставляют кровавые следы на его скафандре, потому что она трогала Квинна, чтобы нащупать пульс и понять, не сумеет ли его спасти.

«Ш-ш-ш, — уговаривает ее тот я. — Все будет хорошо. Честное слово, все будет хорошо».

Он уводит ее в главную каюту, пытается усадить, но она не хочет. Она визжит на него.

«Как? — спрашивает она. — Ты его убил! Как убил?»

«Я не убивал», — говорит тот я. Он честен и

искренен в своем недоумении. Она видит в нем ложь.

«Отвали от меня, — говорит она, — убийца конченый». Она выплевывает эти слова, и я злодей. На моем лице обида и потрясение. Я помню, подумал, не она ли его убила, это была естественная реакция, одна короткая мысль, я сразу ее отбросил, потому что знал, что она на такое не способна.

«У нас жизни всего на час осталось, — говорю я, потому что мы истратили столько заряда, открывая шлюз и меняя скафандры. — Надо запустить двигатели». Я сначала иду вытирать кровь — подбираю маленьким вакуумным насосом лужицу, натекшую у головы Квинна. Помнится, я думал, что в невесомости нет ничего хуже крови. Помнится, я думал: бедняга Квинн. Я впервые за весь полет нажимаю кнопку (и она не пытается мне помешать, хотя мне с подкладки видно, как она дергается, будто хотела бы). Я впервые отмечаю, сколько осталось горючего.

«57 %, — говорю я. — Скоро разворот. — Она меня не слышит, глаза красные, в них отчаяние. — Все устроится», — говорю я ей.

«Как ты мог это сделать?» — спрашивает она, но это пустой вопрос, потому что тогда, в той точке,

я не знаю, что такое я якобы сделал. Помню, я даже задумался, не она ли это сделала — убила Квинна, нечаянно толкнула или еще что. Сейчас, вспоминая об этом, невольно чувствую себя виноватым, что в ней сомневался.

Тот я тянет тело Квинна по коридору (неловко, потому что Эмми не помогает), оно цепляется за стены, ноги волочатся по полу, как будто тяжелее остального; это не так, просто так повезло, или, лучше сказать, сложилось. Он укладывает его в койку и пристегивает.

«Надо бы что-то сказать, — говорит он, чего никто не сделал для Гая, но он желает добра, старается пощадить чувства Эмми. Ясно, что она к нему неравнодушна. — Хочешь что-нибудь сказать? — Она не отвечает, он поворачивается к экрану компьютера, к камере. — Мы это запишем, чтобы было что показать дома. — Тупая вера, что нас спасут, что техника не подведет. Всякий мог бы ему сказать, как это глупо. Он уговаривает: — Надо о нем что-то сказать, как мы про остальных говорили. Если тебе трудно, я начну».

«Иди к черту», — говорит ему Эмми. Он смотрит обиженно.

«Ладно, — говорит он, — я напишу». Он оставляет ее за столом, пристегнутой — он сам ее

пристегнул, чтобы сидела на месте, пока не успокоится, — и садится к компьютеру, начинает печатать, открывает новый файл, и я вспоминаю: он записывает последние события, с грустью описывает случайную гибель Квинна. Он опускает все подозрения о причастности Эмми, потому что ему невыносимо вообразить, что она может быть причастна. Он о ней слишком высокого мнения.

Это был мой последний день с кем-то из команды, потому что назавтра он насовсем усыпит Эмми, запечатает ее в койку, введет в подобие комы до возвращения домой, потому что доверять ей нельзя, она слишком далеко зашла. Ручаюсь, что, если прочитать мою последнюю запись, в ней найдется что-то похожее на надежду. Завтра она уйдет окончательно.

Он спрашивает Эмми, не хочет ли она поесть, но она не хочет, а когда он сам подносит ко рту свой батончик, выбивает его, оцарапав ему лицо. Не до крови, но пытается. Она отстегивается, отталкивается от стены к компьютеру, а оттуда по коридору. Тот я следует за ней, запихивая батончик в карман, и я, как его отражение, дрейфую вдоль коридора.

«Эмми, — говорит он, — зачем ты так? — Она заходит в одно из машинных помещений и

закрывает за собой дверь. Он не пытается ее взломать. — Что случилось?» — снова спрашивает он, словно ответ может вдруг измениться. Она не отвечает ни слова, и он сдается, плавает у двери, а потом возвращается в каюту и всматривается в лица мертвых товарищей по команде.

Мне всегда хотелось знать, подслушивает ли УПИ наши разговоры. На тренировках нам отводили безликие, невыразительные комнаты, где позволяли собраться, выпить кофе и поговорить о себе. В то утро, когда я узнал, что прошел — обогнал Терри, нудную и слишком упертую Терри, — в то утро я рассказал будущим товарищам по команде, что мы с Еленой поссорились и она от меня ушла. Собрала в сумку лучшие платья — те, что надевала на важные встречи, когда хотела кого-то впечатлить, — и ушла. Разбила мой мобильник, швырнув его в ванну (пустую, но из твердого фаянса, и экран телефона засыпал сток осколками), изорвала мои рубашки, отбирая свои, — срывала их с вешалок, кое-где вспарывая по шву. Взяла машину и не сказала, куда уезжает. По телефону — по домашнему, почти никогда не звонившему, — сказала мне, что уходит и не вернется.

«Каждый твой шаг этого года сказал о тебе все,

что мне следовало знать, — с запинкой говорила она. — Что ты за человек. — Казалось, она записала речь заранее и теперь читает с листа. Я будто слышал, как мать стоит у нее за плечом, подначивает. Мы с ней никогда не сходились во взглядах. — Ты доказал, что не желаешь выполнять эту работу, и серьезнейшим образом обманул мое доверие. — Я так и видел ее мать, наспех записывавшую слова на листке. — Когда покинешь дом, не жди, пожалуйста, возвращения. Не звони мне». Я видел, как ее мать по телефону рассказывает адвокатам, какой я ужасный человек.

В «зале ожидания» — так мы называли те комнаты — я рассказал обо всем остальным.

«Вернется», — сказал Арлен.

«Нет, — сказал Гай. — Если любовница сходит с ума, она уже не вернется. Я такое видел». Я не говорил им об Эмми, что причина в ней. Просто сказал, что Елена не смирилась с полетом. Все из-за полета.

«Может, ты не попадешь в окончательный состав и тогда сумеешь ее вернуть», — сказала Терри. Через два часа нас обоих вызвали в кабинет и объявили: меня берут, а Терри благодарят за потраченное время, напоминают, что она давала

подписку о неразглашении, и говорят, что последнюю выплату она получит в конце месяца.

«Поздравляем, мистер Истон», — сказали мне и отправили обратно в зал ожидания, куда явились потом с бутылками шампанского. Мы кричали ура, аплодировали и ликовали. К вечеру объявили на пресс-конференции по всему миру. Нас одного за другим представляли, рассказывали, чем мы будем заниматься, а потом мы отвечали на вопросы. Кто-то из какой-то газетенки спросил, как относятся к нашему полету семьи. Всем нам, в общем, нечего было ответить. После пресс-конференции я пробовал дозвониться Елене, сперва на мобильный, потом на домашний ее матери. Ни там, ни там не ответили. Не знаю, смотрела ли она.

Я дожидаюсь ночи, когда тот я засыпает в койке рядом с остальными телами. Эмми все еще в машинном — я через дверь послушал, как она тихо похрапывает — спит или, может быть, в обмороке. Я снова прокрадываюсь к компьютеру, прихватив по пути поесть, обжираюсь, пихая еду в рот — три или четыре батончика — хватает, чтобы меня затошнило уже за едой. Я смотрю, что написал первый я — липко и сладенько. Я все стираю и пишу другое, новое — отчасти

некролог, отчасти дань памяти, отчасти заявление. Хорошо получилось. Лучшее, что я мог бы написать. Правдиво. Дописав, я нажимаю кнопку «отправить» и сижу, глядя, как с трудом устанавливается соединение. Вроде бы уходит, пишет, что отправлено, но наверняка сказать не могу. Неизвестно, куда попадет это сообщение. Может, оно станет нашим последним словом или может никуда не дойти, плавать в эфире. Или останется на жестком диске и никто его не прочтет.

Я пытаюсь уснуть, но не могу. Час, может, два за ночь. Я то и дело выхожу из-за подкладки и смотрю на свое отражение, пытаясь высмотреть настоящие различия. Чувствую, что расшатался еще один зуб, и вынимаю его, устраивая симметричные щербины: вампир наоборот, без обоих резцов. Я чищу те, что остались — я забыл, что значит быть чистым, — и принимаю душ. Напор воды такой, что больно едва прикрывающей ребра коже. Но пот она смывает, и я спохватываюсь, что забыл о ломке, весь этот день не вспоминал о таблетках; наблюдение за смертью Квинна забрало все внимание.

Я не смог предупредить себя, какое меня ждет пробуждение, так что вынужден смотреть, как Эмми просыпается первой — не связанная, не

стреноженная, не усыпленная, потому что тот я ей доверяет, дурак, верит, что она опомнится и поймет, что он вовсе не дьявол, каким ей видится. Она бросается к аптечному шкафчику, возится с замком, вводит код и распахивает дверцу (у меня сердце переворачивается при виде открытого шкафа — сундука с сокровищами, бросающего желтые блики на лицо открывшего). Ей понадобился шприц — из тех, механических, она его находит и шарит дальше, вводит иглу в пузырек с чем-то вязким и прозрачным вроде яичного белка, а потом поворачивается ко мне. Ящик с лекарствами остался открытым, и его содержимое понемногу всплывает вверх, но ей и дела нет, потому что она направляется к моей койке, где еще спит тот я. Открыв дверцу, она придерживается за край и ждет, готовая меня уколоть, но еще не в силах этого сделать. Занесла руку для удара, и рука даже здесь, почти вплотную, немного колеблется, но справиться с этим она не может. Он просыпается и что-то вскрикивает, увидев ее, и тогда она решается, напрягает мышцы руки и подает иглу вперед, целя мне в шею. Тот я отталкивает ее, разворачивая спиной.

«Перестань, — говорит он, силясь сохранить спокойствие — он хороший человек, понимаю я,

он старается все уладить, и если я когда-то в нем сомневался, то теперь нет, — но Эмми упорствует. — Я дам тебе успокоительного,» — говорит он, а она слышит в этом угрозу. Ему ни за что не победить, хотя он этого еще не понял, так что он хватает ее за запястье, берет выпавший и плывущий по воздуху шприц, и втыкает ей в плечо, раз уж держит, и нажимает поршень, и она сразу обвисает — то ли подействовало, то ли она сдалась.

Он снова пристегивает ее к койке, затягивает ремни туже прежнего, чтобы не сорвалась с места, а потом начинает собирать разлетевшиеся лекарства. Разложив их по ящикам, он не запирает замок, и я решаю, что я уже ступил на эту дорожку, уже подумываю добраться до тех таблеток. Я бы рад быть сильным, но знаю, что не буду, потому что при следующем пробуждении я уже пристрастился к ним, а нога — я совсем забыл про свою ногу, которая совсем зажила, бог весть как давно — я подумаю, что у меня нога болит, а на самом деле это будет ломка. Так легко перепутать.

Он разговаривает с Эмми, пристегивая ее.

«Прости, — говорит он, — за все. — Он чувствует себя виноватым без вины, будто своим участием в экспедиции он на всех навлек проклятие, от-

крыл колодец бог весть с чем, хотя он ничего не делал, и все-таки он извиняется. — И за то, что было между нами, тоже, — говорит он, — и что ты потеряла Квинна. Он был хороший парень». — Он это говорит от души. Этот Кормак не желает зла. Он сидит за компьютером и пишет, чтобы все запечатлеть, чтобы, когда они вернутся домой, в центре управления все поняли. Теперь, понимает он, ему остается только сидеть смирно и медленно шевелить пальцами. Еды у него с запасом, в компьютере есть что почитать, и компания у него есть, потому что Эмми остынет, должна остыть, а они так хорошо ладили — и ему надо просто пересидеть, пока начнется спуск, и тогда он станет волноваться из-за посадки, и это станет проблемой. Он уверен, что, едва они вернутся на расстояние связи с домом, с ним оттуда смогут поговорить. Он сидит в кабине, в пилотском кресле — в кресле Арлена, — разглядывает кнопки и впервые задумывается, каково быть пилотом, будто вдруг сбылась бы детская мечта, о которой он сам не знал.

Бросив фантазировать, он переходит к компьютеру и открывает свои фото, и мне отсюда видно его — все еще так привязанного к Елене, несмотря на разрыв в пространстве и времени, несмотря

на все, что было.

Я в последний раз говорил с Еленой в день отлета. От объявления до старта прошло несколько дней — бешеная неделя, где нас превозносили и славили в прессе, почти не переводя дыхания. Миру довелось познакомиться с нами в коротком броском взрыве на обложках журналов и первых страницах газет. Эту неделю мы были повсюду, поскольку УПИ утверждало, что для наилучшего эффекта все должно быть похоже на реалити-шоу.

«Людям скучно, — говорили нам, — а мы устроим, чтоб вы были повсюду, и им станет интересно — достаточно интересно, чтобы следить за каждым шагом вашего путешествия. Они от души пожелают вам успеха». Мы делали все, что от нас требовалось: окончательные проверки здоровья, последние тренировки, — но очень многое было уже проделано нашей группой за прошедший год. «Мы все до того упростили, что вам и думать не придется, — говорили в УПИ. — Нажать кнопку, слетать и вернуться. Проще простого». Гай был тузом в рукаве, потому что много лет работал с ними над этим проектом — всю взрослую жизнь, как выяснилось, и потому (хотя мы узнали только в последний день, когда кое-что попало в одну

газету) он не мог не лететь ни при каком повороте событий, кто бы ни прошел с ним в команду. Та последняя неделя выдалась безумной, дух не перевести. Я каждый день звонил Елене, едва проснувшись, но она ни разу не ответила. А однажды отель среди ночи разбудил меня звонком.

«Алло?»

«Кормак, — сказала она, — это я». Она сказала, что в Греции с матерью и дядей, а когда вернутся, точно не знают.

«Ты там сможешь работать?» — спросил я.

«Я не знаю, захочу ли».

«Так ты не вернешься?»

«А ты?» — спросила она, и я ответил, что я — да, я, конечно, вернусь. Один полет — полет на всю жизнь, ничего лучшего мне не светит, а потом я вернусь домой, в Лондон, буду там работать до конца жизни.

«Я по тебе скучаю», — сказал я.

«Я тоже скучаю», — сказала она.

«Мне очень жаль», — сказал я.

«Нет, — возразила она, — ничего тебе не жаль». Она повесила трубку, и я сообразил, что извинялся за Эмми, что спал с ней, обманув доверие Елены, а она решила, что я извиняюсь за работу, за участие в космическом полете. Я выяснил, с

какого номера она звонила, и перезвонил, но там было заблокировано, так что я до утра просидел у телефона и совсем не спал.

Утром Гай пошутил, что я выгляжу таким помятым, словно всю ночь не ложился.

«Нервы?» — спросил он, а я сказал, что нет, а он засмеялся и назвал меня вруном.

Сколько часов прошло, а он ничего не делает, и Эмми все спит. Не знаю, сколько прошло, часов у меня нет, но много, и у него уже сейчас скучающий вид. А впереди еще недели, я думаю. У нас еще недели впереди.

Эмми просыпается, закашлявшись, и я тоже просыпаюсь от звука ее включившихся легких, живого будильника. Кормак из каюты уже там, с ней, держит фляжку с водой, сует к губам соломинку. Она подается вперед и машинально делает глоток, потом пристраивает голову поудобнее. «Я не хотел, — говорит тот я, — но ты совсем с ума сходила. — Она молчит. — Тебе лучше?»

Она мотает головой.

«Нет, — говорит она, — мне уже никогда лучше не будет. Зачем ты это сделал? Зачем?»

«Я ничего не делал, — говорит он. — Прошу тебя, правда, ничего».

«Знаешь, ты был совсем другим, когда мы познакомились. Какого хрена я в тебе нашла? — Я никогда не видел ее такой сердитой. Ожесточенной. — Выпусти меня отсюда».

«Прости, что причинил тебе боль», — говорит тот я, воображая, что все это из-за него, из-за его ошибок, и страшно ее смешит.

«Какой ты засранец, — говорит она. — Дрянь дрянью. Мне тошно вспомнить, что я когда-то считала тебя хорошим парнем. — Он стоит, пристыженный ее словами, сбитый, униженный. Ниже некуда. И тут удар ножом: — Не удивляюсь, что твоя жена покончила с собой». Вот это бьет его как кирпичом, потому что он держал это в себе, похоронил, не отрицал, но умалчивал, не говорил им, что случилось. Я помню это чувство, когда знаешь, что тебя предали, но не знаешь кто и воображаешь жену висящей на низкой балке греческого дома ее матери, скребущую носками — пальцами ног — по полу, и как они пытаются ее снять, но узел на простыне такой тугой, что приходится резать, а ножницы вечно не находятся, когда нужны, но это несущественно, потому что она много часов как мертва. В этой спальне из старого дерева. Я воображал, как балка проседает под ее тяжестью, чуть прогибается, чтобы

так остаться навсегда: ее последней подписью, вечной, нестираемой меткой.

Мы не сразу попали на корабль, потому что пресса выстроилась в очередь в порядке влияния и журналисты ссорились из-за мест. Мы опять ждали в пустой белой комнате, и я улизнул в туалет дальше по коридору, одолжил мобильный у одного из бродивших там вездесущих журналистов — мы пару раз встречались на случайных вечеринках, я помнил его по имени, а больше ничего не знал, даже для кого он пишет, — и позвонил домой, в дом ее матери, а потом вспомнил, что звонить надо ее брату — у него мог быть номер. Он жил в Айлингтоне, и найти было не так уж сложно. Он ответил так, будто я уже знал.

«Иисусе, Кормак, какое горе», — сказал он полным слез голосом, я такого никогда не видел и не слышал — у него голос был низкий и грубый и звучал как чужой, смазанный густыми влажными всхлипами, — и мне пришлось спросить, что за горе, чтобы он понял, что я еще не слышал. Он рассказал мне — в том порядке, в каком, они думали, все произошло: она ушла спать, она позвонила мне, она попрощалась, она сказала матери, что будет спать, она связала простыни, потом привязала к балке, забралась повыше и

просунула голову в петлю, которая не должна была затянуться, но узел получился такой тугой, что ткань все-таки не порвалась и выдержала, и тогда она шагнула с кровати. Он рассказал, что несколько пальцев на ногах у нее казались переломанными, как будто она била по половицам, пыталась вернуться на кровать, спастись. Она пожалела, но изменить ничего уже не смогла. Сделанного не воротишь.

Я дал отбой, когда меня уже искали, выясняли, куда я запропастился. Я не помню, долго ли думал не лететь, а мчаться на похороны жены, но недолго. Я рассказал тому репортеру, сказал, надо почтить ее память или еще что, но не знаю, что из этого он понял. Он мне обещал, и я вернулся в зал ожидания, а оттуда на трап к лифту, который поднял нас на верх шаттла, к нашему новому дому. Мы позировали, улыбались, махали, а нас называли первопроходцами и героями, и мы аплодировали, и нам аплодировали.

«Увидимся, когда вернемся», — было сказано в общем заявлении, и мне самому, слава богу, не пришлось ничего говорить.

Кормак в каюте потрясен: он это вытеснил из памяти — почти — и думал, что никто, кроме него, не знает. Он вцепляется в угол стола.

«Кто тебе сказал? — спрашивает он. — Кто узнал?»

«Центр управления, — отвечает она. — И мы все знали. Как же иначе, мы же были твоей командой, друзьями».

«Когда вы узнали?»

«Еще до взлета. По-твоему, мне, оценивавшей твое психическое состояние, не следовало знать? — Она грустно смотрит на него. — Ты не хотел нам говорить, а мы решили не заставлять, но теперь я вижу, что, пожалуй, надо было. — Она плачет. — Если бы поговорили, этого могло бы не случиться».

«Незачем мне об этом говорить, — говорит он. — Все нормально. Мы с ней порвали».

«Нет, на самом деле нет. Ты не порвал. — Она смягчается. — Ты хотел ее вернуть, уж это-то ты мне сказал, так что я знаю, как тебе было больно».

«Конечно, было, — говорит он. — Я извинился, но она не приняла извинений».

«Так ты знаешь, почему она это сделала?»

«Потому что я улетел», — говорю я. Она качает головой.

«Ты, как мужчина, — говорит она, — воображаешь, что мир вращается вокруг тебя. То, что

случилось, случилось из-за тебя, не по ее выбору, так что ты можешь чувствовать себя виноватым, потому что как же ей было жить без тебя». — Она качает головой, огорчаясь за меня — такого взгляда я у нее еще не видел, он ей не подходит. Она похожа на Елену, такое лицо я видывал у покойной теперь жены, и ее взгляд в глазах Эмми — мое наказание.

«Ошибаешься, — говорит он. — Она меня любила, и я ее любил».

«Она загрустила еще до твоего ухода, а ты послужил спусковым крючком, — говорит Эмми. — Когда человек поступает как она, это значит, что все, что было нужно, — один толчок». Она опять смягчается, и Кормак — тот Кормак, что там, — меняется.

«Можно мне выйти? — спрашивает она. — Можем еще об этом поговорить».

«Нет», — говорит Кормак. Он закрывает и запечатывает ее койку, потому что знает, что она лжет, она нападет на него ночью, постарается взять верх, потому что она его ненавидит и думает, что все эти ужасы сотворил он.

Я смотрю, как он делает ей инъекцию, чтобы уснула, потом устраивает ее поудобнее, отстегивает ремни, закрепляет подголовник, потом

запечатывает ее койку и смотрит на нее, отплывая. Он опять выводит на экран фото Елены и не сводит с него глаз, а потом пытается установить связь с центром управления — слабая, жалкая попытка. А потом он просто висит посреди комнаты, думая, что он один.

Мы поднялись на корабль, выслушали, как будут работать койки: что Арлен отключится первым, использовав какое-то сильнодействующее средство. Эмми должна была помогать врачу его вводить, потому что от вещества возможны судороги.

«Это подобие комы, — говорил врач, — но совершенно безопасное. Кома на определенный срок. Мы рассчитали наниты в препарате так, что вы проснетесь с точностью до минуты — если сон не прервут или не изменится график».

Арлен лежал в койке и ухмылялся.

«Всегда хотел попробовать, каково спать с роботом», — сказал он, и все мы рассмеялись. Операторы засняли, как мы смеемся — документировали наше непринужденное веселье, — и только Гай предложил ему сказать что-нибудь еще.

«Ты точно хочешь, чтобы это были твои последние слова?»

«Ладно, и правда. Еще одна попытка. — Арлен работает на камеру, не забывая, что всю сцену будут показывать. Товарищеские отношения. — Мы уходим в космос на глубину, куда никто еще не уходил, а я собираюсь проспать всю дорогу. Когда увидимся в следующий раз, я буду знаменит».

Он улыбался, и его обаяние обещало, что ему это сойдет с рук. «Так лучше?» — спросил он Гая.

«Нет», — отрезал Гай. Мы все смотрели, как отключается Арлен — без отсчета, просто Эмми придержала его за плечи, а врач ввел похожую на ртуть жидкость, и он один раз дернулся и уснул. Нам предстояло проспать не одну неделю — такое даром не проходит. Ванду укладывали следующей — она вздрогнула.

«Терпеть не могу уколы», — сказала она.

«А вы не смотрите», — посоветовал ей врач. Тогда она стала смотреть на меня, морщилась, скалила зубы, чуть не рычала.

«Дерьмо», — ругнулась она, когда иголка вошла ей в шею, и я увидел, как один оператор что-то у себя пометил — напоминалку, что ее надо будет запикать. Следующим был Гай, и тот заговорил только после укола.

«Увидимся на той стороне», — сказал он. Потом была моя очередь. Эмми, придерживая меня,

наклонилась пониже.

«Ты в порядке?» — спросила она. Тогда я удивился, что это она обо мне так заботится. Заметила, что я плакал?

«Да, — сказал я. — Просто задумался о Елене».

«Понимаю», — сказала Эмми.

Сон был похож на автомобильную аварию, когда чувствуешь, что не успеваешь затормозить, и на несколько секунд становишься совершенно беспомощным. Видишь налетающую машину, давишь на тормоза, но все мало, потому что скорость есть скорость и законы физики такие, какие есть. Я помню, что моргал, разгоняя туман, потому что там был туман.

Я выхожу из-за подкладки и смотрю, как он спит в своей койке рядом с ее. Она кажется мертвой, думаю я, мертвой и уставшей. Веки у нее вздрагивают. Она приоткрывает один глаз. Он где-то напутал — она не спит и выглядит сердитой, будто сообразила, что происходит. Я снова бросаюсь к аптечке, чтобы отключить ее, пока она совсем не проснулась, но она уже открыла дверцу койки, уже оттолкнулась. Она летит на меня, а я еще шарю в поисках снотворных, когда она в меня врезается. Шприц вылетает, кувыркаясь, и она успевает к нему первой, ловит его

в ладонь, и я не знаю, что делать, потому что единственное оружие в этой комнате у нее. Она замахивается им на меня, совершенно беззвучно — можно подумать, знает, как я молюсь, чтобы не проснулся другой Кормак, — и тут я выбрасываю руку, хватаю ее за щиколотку и дергаю к себе, одновременно разворачивая. Я обхватываю ее, думая вырвать шприц, но она снова меня отталкивает. Я налетаю на край стола под самым неудачным углом — он скребет меня по спине, я чувствую, как рвется кожа и течет кровь. Спина у меня ужасно перегибается, и я вспоминаю, что уже чувствовал эту боль, она накатывала, когда я на коленях или на четвереньках полз или летел за подкладкой — хуже для меня места она выбрать не могла.

«Кормак, — выдыхает она, — что с тобой?» — а потом мы снова деремся, боремся, даже сквозь боль. Она жалит меня иглой прямо в плечо, но нажать поршень не успевает. Я перехватываю ее руку, и вырываю шприц, и выкручиваю руку, и смотрю, как игла — трехдюймовая, тонкая, из какого-то нового, неломающегося и негнущегося металла — входит ей в грудь, выбрав идеальное место точно между ребрами. Я нажимаю поршень, и она сразу обмирает, обвисает. Уплывает.

Не знаю, заснула она или мертва, не попал ли я ей в сердце или в легкое. Может, ее уже нет, может, когда я столько раз, глядя на нее, думал, что она похожа на мертвую, — может, она мертвой и была.

Я снова креплю ее тело к койке, пристегиваю — на всякий случай — и запечатываю дверь. Я сам ставлю таймер, чтобы на этот раз наверняка, — ставлю на годы вперед. Моя кровь — со спины — раскрасила стол и стену у компьютера. Я ее вытираю, включаю вакуумный отсос, чтобы вытянуть излишки из воздуха, а потом подтягиваюсь по полу к раздевалке. Я снимаю пропитанную красной влагой футболку и выбрасываю в мусор. Достаю из своего шкафчика свежую. В зеркало изучаю повреждение — больное место внизу спины, у самого копчика. Приходится выворачивать шею, а рукой придерживаться, чтобы не улететь: там все в крови, длинная тонкая царапина. Я беру полотенце, вытираюсь как могу, очищаю антисептической салфеткой и снова выгибаюсь посмотреть. Видно четко, как днем: аккуратный разрез. А рядом с ним еще царапины или шрамы от них — розовые штрихи рядом друг с другом, кое-где пересекаются — десятки тоненьких розовых черточек вдоль свежей раны. Одно и то

же ранение повторялось из раза в раз с тем же результатом, оставляя такие же шрамы. Все это уже было.

Все становится на место: мой нутряной инстинкт, не позволяющий делать то, что кажется неподходящим, вроде обратного дежавю, и то, как я деградировал — будто прожил здесь месяцы, если не годы, без медицинской помощи, на корабельном пайке, и куда я направляюсь, без цели, не зная, что мне предназначено сделать. Черточки на спине — метки, по одному на каждый мой полет. Я пытаюсь их пересчитать, но сбиваюсь на четырнадцатой, потому что они перекрываются или новый, свежий разрез мешает разглядеть.

Все это повторялось снова, снова и снова.

Часть третья

Мы не бросим исследований,
И предел наших поисков —
Достигнуть исходного пункта
И узреть то же место впервые.
***Т. С. Элиот. Литтл Гиддинг*[4]**

[4] Примечания: 4
Цитата приводится в переводе Дмитрия Сильвестрова.– *Прим. ред.*

1

Мы работаем посменно. Когда он бодрствует, я сплю, или наблюдаю, как он спит, или пытаюсь уснуть. Обилие таблеток помогает делу, и я говорю себе, что не стоит винить себя за их употребление, потому что я помогаю поддерживать постоянную временную линию. Мое пристрастие — составная часть цикла, потому что — я разобрался — начинал я, когда нога была еще сломана, когда мне еще приходилось справляться с болью, и я принимал таблетки сколько мог. Не знаю, изменялась ли временная линия, когда я ее менял — если я что-то делал иначе, например показывался товарищам по команде, — и, может, это все каким-то образом поломало. Не думаю, что это что-то значит. Важно одно: что я это уже проходил и вот снова вернулся, проживая все снова и снова. Каждый раз, заново начиная цикл, я продолжал принимать таблетки, и каждый раз, просыпаясь в начале, я притаскивал с собой свежеприобретенную зависимость. По ночам, пока первая версия меня — оригинал, лучший, не испорченный той чертовщиной, что со мной творилась, — пока он спит, я сажусь к компью-

теру и пытаюсь вычислить, сколько раз это уже было. Хочу знать, сколько раз это проделывал. Думаю, годы. Думаю, я значительно старше. Будь я деревом, мог бы подсчитать годовые кольца. Я здесь могу только опираться на скорость распада моего тела и на седину, которая у меня появилась. Сколько времени заживает сломанная нога? А те царапины, что теснятся у меня на спине, эхо последнего вздоха Эмми, — сколько им надо, чтоб стянуться в розовые морщинки на коже? Сколько времени вырабатывается зависимость: настоящая, подлинная зависимость, густая и липкая, от которой тебя трясет, знобит, бросает в пот без необходимого тебе вещества? Сколько времени нужно зубам, чтобы расшататься без чистки и вывалиться из-за потери костной массы, отчасти от невесомости, отчасти от того, что нечего ими кусать, и от недостатка витаминов, от беспорядочного питания, непрерывного бодрствования, скрежета означенных зубов? Сколько нужно, чтобы потерять зубы, и сколько нужно, чтобы линия волос на залысинах отступила на добрый сантиметр, протянувшись к макушке и зарождающейся монашеской тонзуре? Чтобы кожа пожелтела от потери веса и ребра начали выпирать? Я, верно, сто раз это проделывал: воз-

вращался к началу и проверял, далеко ли сумею зайти; впрочем, думаю, я иногда сходил с ума, и это число — огромная недооценка, а может, и переоценка. Не знаю: нет ни видео, ни записей в журналах, остались только четырнадцать шрамов, а они говорят только, что я доходил до схватки с Эмми и укладывал ее спать не менее тринадцати раз.

Другой Кормак все еще сидит за компьютером, ежедневно ведет свой дневник, потому что больше ему нечем заняться. Я помню ту скуку, но она как-то заместилась, вроде как обернулась чувством спокойствия. Сейчас напряжение меньше, чем когда мне приходилось все время прятаться. Теперь я знаю, к чему идет Кормак и что он сделает, потому что я там был, я все это прошел в первый раз. Смутно, но я видел начало раз за разом и каким-то образом… это вроде мышечной памяти. Повторяешь что-то, пока это не становится въевшейся привычкой. Ты о ней и не думаешь. Я знаю, что, когда он спит, он так и будет спать, и я могу занять его место. Я знаю, что он не соблюдает расписание дня и ночи ни в каком подобии порядка или структуры, а это значит, что и мне не приходится соблюдать, если даже по первому разу я как-то держался. Он делает записи в сво-

ем блоге и нажимает «отправить», потому что он пока еще думает, что вернется домой. Когда подойдет к 51 %, думает он, корабль, как ему и положено, развернется, и он вернется на Землю неустрашимым героем-первопроходцем, он и Эмми, и его будут чествовать, потому что он выжил. Он видел космос, каким его предназначено было видеть: опасным, необузданным, как горы и моря в те времена, когда их еще не нанесли на карту.

«Интересно, назовут ли меня первооткрывателем», — произносит он вслух. Я ровно о том же думаю.

Пару дней я провожу в безделье, потому что тем же занят и другой Кормак. Он словно знать не хочет, как влип, упрямо верит, что вернется домой. Для него все это имеет смысл. По крайней мере, укладывается в голове. Временами он смотрит на Эмми, подумывая, не открыть ли ее койку, посмотреть, не стало ли ей лучше, не захочет ли она сесть и поговорить, но отказывается от этой мысли. Вместо того он сидит в кабине и смотрит наружу, в темноту, или идет к Пузырю и смотрит через него, или скользит по жилому отсеку, трогая что попало. Он скучает и каждый раз, как сменяются цифры, проверяет проценты. С этого времени стал следить за часами. 52 %. Завтра

он будет раздавлен, он поймет, что может и не добраться домой.

Кормак следит за сменой цифр и внутренне готовится к будущему. Мне его не видно, потому что он в кабине, но его чувства я помню: разочарование. Немного погодя он бьет по кнопке, останавливая двигатели, и мы обретаем вес. Я на полу и не дотягиваюсь до решетки, сквозь которую подглядываю, поэтому перемещаюсь, меняю позицию. Он дышит, медлит, говорит сам с собой.

«Ладно. Может, надо перезагрузить, — произносит он и жмет на большую кнопку. — Пуск!» — говорит он. Корабль запускается, а он из кабины выискивает неподвижные точки в пространстве — далекие звезды, смутный намек, что остальная Солнечная система все еще существует, — но они не сдвигаются. Мы по-прежнему движемся вперед, не поворачиваем. Наша ось неподвижна. Он оглядывается, вздыхает. «Ну же! — вопит он. — Вышли на 51 % — и домой! — Он хочет от корабля чего-то, чего он ни в коей мере делать не собирается. Это — да и любые его усилия — бессмысленны. — Ну давай, фигачь!» — снова орет он. Мне за решеткой вспоминается зоопарк — как видишь зверя в клетке, в ящике с ограниченным

обзором и отчаянно рвущегося на свободу, но тщетно. На то она и клетка. Если бы можно было сбежать, она бы клеткой не была.

50 %. Кормак решается снова нажать кнопку. Нажимает вполне беззаботно — наваливается на кнопку всем весом. Корабль взвизгивает, когда включается обратная тяга, и нас тянет вниз, и двигатели замолкают. Он топочет по каюте, колотит по экрану компьютера и вопит, требуя ответа от центра. Он не знает или не желает знать, что ничего не выйдет, — не помню. Я смотрю, как он открывает фото Елены, и привстаю на цыпочки, чтобы выглядывать сквозь решетку под нужным углом, чтобы тоже посмотреть.

Мы снимали ее в Кромере, на набережной. Было ветрено, и ей это нравилось: ветер дул в спину, трепал волосы, раздувал юбку, и она смеялась.

Спустя несколько минут Кормак гасит экран и начинает расхаживать по каюте. Он съедает пищевой батончик, хотя поел всего несколько часов назад. Он глубоко дышит, он разглядывает мертвые лица товарищей по команде и слушает поскрипывание корабля, дающего ему воздух, замедляющегося, а я ворочаюсь за подкладкой, стараясь устроиться поудобнее. У нас впереди еще несколько дней такой жизни, потому что он

— я — думал, что чудом, случайно или еще как я могу быть спасен.

Очевидно, не могу. Как мне хочется посоветовать ему с этим смириться.

Он глазеет на компьютер, потому что ничего в нем не понимает. Я теперь разбираюсь чуточку лучше, я думаю — столько времени наблюдал за Квинном и Эмми со стороны, замечал, какие они нажимают клавиши, это совсем не то, что с Кормаком, который жмет кнопки, чтобы посмотреть, как они действуют. Он орет на экран, показавший 49 %, — вопит, что надо возвращаться, не то он не дотянет.

«Так нечестно», — твердит он. Скулит как щенок. Я забрасываю в рот еще одну таблетку и жду, потому что он скоро устанет — по моей оценке, его псевдосутки растянулись на тридцать шесть часов и довольно скоро настанет ночь. Мне нужны еще таблетки (из-за зависимости и яркой новой боли в копчике), и еще еда, и воду пополнить. Я вспоминаю, как на первом круге поломал себе ногу — Кормак скоро сломает свою, слишком скоро, — и помню, как рылся в аптечке, удивлялся ее пустоте. Обезболивающие оставались, но мало, так что мне, понятно, нельзя забирать все. Только часть. Это ничего, мне больше и не надо.

Он, утомившись, начинает тыкать по кнопкам без прежней страсти. Я тоже устал — дайте мне силу тяжести, я не так уж долго продержусь. Все во мне дрожит при мысли о еде, таблетках, и чистой воде, и о сне, так что я ложусь, слушая, как он стучит клавишами и бормочет себе под нос. Наконец слышится шипение койки — выходит воздух, подается кислород; и снова шипение, когда он залезает и закрывается внутри. Я смотрю, но его не вижу, так что бегу к люку и, открыв его, смотрю, как один за другим выключаются светильники. Ночь, мне можно выходить.

Я беру пищевые батончики — популярные бренды у нас кончились, мы их съели первыми, было в них что-то утешительное — остались карри и батончики-пироги, жуткая дрянь, взятая по настоянию Гая, все с бирками супермаркетов или никудышных телеповаров. Я уношу горсть из кладовой за подкладку, высыпаю их на пол и беру воды — лишние фляжки, принадлежавшие, думаю, Квинну и Арлену, — наполнив их чистой водой заодно со своей. Не знаю, когда еще смогу вылезти.

Кормак снова запускает двигатели, потому что знает: есть смысл или нет, а без них ему нет жизни. Он еще не провел расчетов, которые это

изменят, скажут ему, что можно дольше оставаться на месте: пока что он следует правилам Гая, по ним самое большее два дня до подзарядки батарей, и еще он пока не нашел на компьютере команду, выводящую оставшийся заряд. Он гадает, вдруг корабль на самом деле летит не туда, может, совсем испортился. Мы снова ничего не весим и летаем, и он перебирает схемы систем, вызывает в Пузырь экраны, сводит и сопоставляет курсы. Он чуть не целый день разбирается, как использовать эти системы, потому что его этому не учили, но, разобравшись, справляется довольно ловко. Он разворачивает карты, проверяя, совпадают ли при наложении — это не совсем научно, потому что он знает, что звезды затемняются и пиксели компьютера не так уж точны, — но если найдет Орион, то и остальное сумеет отыскать. Занимаясь всем этим, он вздыхает, потому что уже сейчас все выглядит тщетным. Все друзья умерли. Дома его никто не ждет. Он — идеальный кандидат с точки зрения центра: одинок и уже равнодушен к жизни и смерти, если честно.

Он себе в этом не признаётся — пока еще. Ему еще не так близко до решения. Этой ночью, пока он спит (заставляет себя, понимая, что надо, не

то он совсем свихнется, и что от него зависит, попадет ли он и Эмми домой — не забывайте о ней, она еще жива), — этой ночью я принимаю решение просмотреть старт. Мы его просматривали, когда только вышли в космос, разобравшись с телом Арлена, но я толком не видел. Я себе сказал, что посмотрю в другой раз. И почему-то так и не посмотрел. Я собирался заняться записью, когда вернусь, может, немножко подправить, вставить несколько интервью, наложить звук… теперь уж этого не будет. Я отыскиваю файл на жестком диске, загружаю его и увеличиваю на весь разворот экрана. Я решаю, что хочу смотреть со звуком, а значит, надо позаботиться, чтобы моя первая версия спала.

Я как можно тише открываю его койку и беру тот же набор, которым он на моих глазах усыплял Эмми, и, вставив свежую иглу, колю его в плечо. Он просыпается, когда я нажимаю кнопку, но глаза распахиваются всего на секунду, так что он этого даже не вспомнит, а дозы хватит, чтобы он не просыпался много часов. Развернув файл на весь экран, я увеличиваю громкость и смотрю запись. Комментариев нет, снимали камеры, жестко закрепленные на корпусе корабля. Идет отсчет — толпе внизу он передавался через боль-

шущие динамки, как на праздновании Нового года, — и начинается от двадцати в ожидании падения капли. На счет «один» восторженный гул толпы внизу разрастается, а потом сменяется ревом двигателей. Противоестественный рев, ничего противоестественнее быть не может: оглушительный скрежет и грохот техники, изобретенной для совершения невозможного. Они выплевывают огонь, потом дым. Секунду кажется, что он клубится под ракетой, а ракета никуда не летит, а потом летит. Отталкивается от земли, и всё — стартовая площадка, толпы и толпы народу, тысячи людей, будто праздник какой-то, — всё исчезает так быстро, как только возможно, стягивается в миниатюру. Дым не прекращается, пока береговая линия не превращается для меня в трещину, а за ней сам берег. Стартовать предполагалось со скоростью, какой человек никогда еще не достигал, чтоб свести к минимуму гравитационное влияние Земли. Это удалось. Восточное побережье США на секунду кривится, потом ухмыляется, потом проступает во всех подробностях и делается как те картинки, что нам показывали в школе или на бейджиках BBC: Земля — идеальный шар, зеленый, и песочного цвета, и голубого, а потом облака, а космос

окружает ее черным нимбом. Я смотрю, как она откатывается все дальше, как стеклянный шарик, вот она уже не больше Луны из моего садика, а вот и почти не видна. Я смотрю на все это и записываю точно то, что мне видно, а когда все кончается — мы в космической темноте, где нет ничего, кроме корпуса и отрывистых плевков двигателей, — я начинаю сначала.

В первый раз, дописав, я нажимаю «отправить». Предыдущая моя версия об этом не знает.

Острейшее дежавю — наблюдать, как делаешь то, что уже делал: не столько похоже на запись, сколько на мелькнувшее в зеркале отражение, которого ты и не замечал. Мелькнет рука или плечо, и сразу узнаешь, но все-таки думаешь, не призрак ли, не чужак, не шпионит ли кто за тобой. Со всеми этими версиями меня еще хуже: будто зеркало перед зеркалом, мелькают сотни твоих ладоней, хотя здесь тебе видна более или менее всего одна — только твое тело и первичное отражение. Остальное фон — горы, уходящие за горы, вдаль. Наблюдение за Кормаком, проделывающим все, что он делает, помещает в контекст все, чем я являюсь. Он так часто выводит чертов портрет Елены, плачет, не сводя с него глаз — раньше он плакал о себе, а не о ней, в сущности,

от чувства вины, и мне так и хочется сказать: ты еще не знаешь, что чувствую я, потому что я был здесь, пока все это происходило, я все это создал. Хочешь поговорить о своей вине? Попробуй поспособствовать смерти хотя бы некоторых из своей команды.

От любой попытки понять, почему я вынужден это делать, у меня болит голова. Пока Кормак спит, я читаю записи в корабельном компьютере, статьи энциклопедий, учебники — ищу что-то о путешествиях во времени, читаю о них в фантастике — книги, фильмы — и сравниваю образцы со своим положением. По всем признакам это парадокс: я был на корабле, когда все это происходило, а происходило оно от того, что я там был, что означает, что я всегда был здесь дважды. Когда я разрушаю парадокс, он перезагружается: вроде как ты порезался, и, сдирая корочку, ты перезагружаешь ранку, возвращаешь ее на ноль, потому что тот струпик был тебе нужен для защиты от инфекции. Все остальные версии меня — такой струп, что-то его сдирает, и тело перезагружается. Надо заживать, говорит оно и образует новый струп. Я старше, это я знаю; будь я из любителей пари, поставил бы на годы. На два года. Или на три. Итак, три года это тело (в данном

примере оно — время) пытается залечить рану, а я паршивый негодный струпчик, то и дело цепляющийся за мебель на кухне и рукава рубашки. Время залечивает себя, а мое тело остается прежним. Раз сунув руку в огонь, учишься больше так не делать. Мое тело — или разум, или то, что их связывает, — думаю, обучилось. Каждый раз, проделывая что-то заново, я учусь больше так не делать. Не запоминаю, но не в этом дело. Может, для исправления времени необходимо, чтобы я здесь не помнил, как был здесь. Может быть, мое путешествие — ха! — является частью того, что должно случиться.

Я так и не понял, как вылезти с этой стороны. Я знаю, что так не может продолжаться. Я сойду с ума, если сумею вспомнить другие разы. Или я уже?

За едой я теряю еще один зуб: я откладываю батончик, вкус копченой курятины во рту смешивается с кровью, а зуб завяз в мягкой пасте. Я тихо ругаюсь и вытаскиваю его. Он черный, подгнивший, как падалица у корешка, и я чувствую оставшуюся дырку спереди, справа в верхнем ряду — провожу по ней языком, ощупываю. Сунув зуб в карман, я пристегиваюсь к полу и стараюсь уснуть, потому что очень устал. Я теперь

постоянно усталый от усилий следовать режиму Кормака. Он этим занимается много-много меньше меня, и запас прочности у него на зависть. Уплывая в сон, я думаю, как далеко может зайти распад его тела, прежде чем он умрет. Меня тревожат зубы во рту, почти все они качаются под пальцами. Сколько можно продержаться без чистки зубов, без посещения дантиста? Как люди жили в прежние времена без зубной пасты и дантистов? Проснувшись, я чувствую во рту еще один выпавший зуб и болтаю его в крови и слюне, не раскрывая рта. Осторожно его вытащив, сую в карман и оставляю там стукаться о приятеля.

Остаток ночи я читаю о знаменитых исследователях — о каждом, кто совершил что-то стоящее, нашел что-то или куда-то добрался. Я читаю об их подвигах и приключениях — даже о тех, о ком мы почти ничего не знаем — а все же их еще помнят, о них еще пишут. Иногда их свершения сводятся к проигрышу: пытались куда-то попасть, но исчезли, исследовали моря и пропали без вести, отправились искать затерянные в джунглях золотые города и не вернулись, — но их помнят. Они судились с властями и кредиторами, сражались с природой и хаосом, с болезнями: цингой, безумием, малярией, обморожениями. Против всего

этого они боролись и сохранили себя.

Гай не раз говорил, что мы взялись за это дело потому, что хотели увидеть никем не виданное и вписать в историю свои имена. Этого мы добились, пусть в качестве пропавшей в давние времена команды «Исигуро» — «Марии Целесты» двадцать первого века.

Он не застанет меня врасплох ничем из того, что делает, потому что я помню. Каждое мгновенье — воспоминание, крошечное, коротенькое воспоминание, пробирающееся на свое место. А вот как он это делает! Об этом я ничего не помню. Он злится, бьет по клавишам, лупит, будто компьютер его обидел. Он бранится себе под нос и вслух рассказывает обо всем, что происходит. Говорят, что люди в тишине и одиночестве склонны говорить сами с собой, они так выговариваются. Я пробыл один — среди других, но все-таки — так долго, а все же не потерялся. Если пересчитать, сколько раз я это проделывал, мое одиночество можно исчислять годами. В сравнении с Кормаком мое одиночество бьет через край.

Я даже не воспринимаю нас одним человеком. Лица у нас, конечно, одинаковые, у него более очерченное, более определенное. Щетина опрятная, волосы тоже. Отсюда почти можно поверить,

что лидером был он, а не Квинн. А в сравнении со мной он — Адонис. Лицо у нас одно, но его стиснутые зубы тверды, крепки, решительны. Мои расшатались и устали. И подбородок мой проигрывает по части определенности, несмотря на потерю веса. Зубы у него идеальные — настолько идеальные, насколько возможно без детского ортодонта, ряды тупых белых ножей. А я… я смотрюсь побитым. Сломленным. Он подтянут, зол, и, когда говорит с Еленой — а он говорит, выводит ее портрет и болтает с ней, рассказывает, как раскаивается, — я слышу слабака. Он вытягивает одно за другим отосланные домой видео, копирует их в плейлист и прокручивает, и смотрит, как мы заходим на корабль в первом видео и как мы выбываем один за другим. От каждой следующей потери он рвет на себе волосы — они гуще моих, ниже наступают на лоб, залысины у него не такие глубокие — и ерошит их пальцами, ставит торчком. У него волосы на корабле успели отрасти, а мои почему-то как бы статичны, или короче, или замедлены. Мы братья, не близнецы, пара лет разницы, родители те же, а гены разные.

И он зануда. Одуреть можно, глядя, как он снова и снова повторяет одно и то же. Я так долго наблюдал за другими, сражаясь с фактом, что

мне нельзя с ними заговорить, подойти и обнять или наорать, поспорить, — что сейчас, когда он ничего не делает, а у меня ни малейшего желания с ним взаимодействовать, это особенно досадно. Жестоко.

Пока Кормак спит, я отправляю домой еще одно сообщение. Выплескиваю все как есть. Рассказываю о случившемся, на случай если они до нас доберутся, вскроют двери и найдут здесь нас, застрявших в безумной вечной петле, снова и снова разыгрывающих одно и то же. Я рассказываю им, что было со мной, и пишу им о Кормаке.

Он такой скучный. Если не хуже. Может, даже хуже, чем ничего: он хандрит, он устает, а как он смотрит на эти снимки снова и снова? Я помню, как смотрел видео с командой по первому кругу: не могу дождаться, пока он до них доберется. Он возьмется за них со скуки, а меня тянет сграбастать его и сказать, что его скука — ничто. «Ты попробуй на нее смотреть, — сказал бы я ему. — Попробуй наблюдать за скукой».

Я сердит на него и на снимки, что он разглядывает, на траур, который он носит не снимая. Не думаю, чтобы он до сих пор оплакивал Елену. Вроде как грусть — это химическая реакция, а во мне она закончилась, время сделало свое дело. Я

вспоминаю ее, и она призрак, понимаете? Как отражение. Ее можно стереть, потому что она и так не слишком реальна. Мысленно я представляю ее другой, чем на этом фото. На нем она выглядит счастливой.

Я не знаю, что случится в конце. Не знаю, перезагрузка ли, или конец — в самом деле конец, или что. Не знаю. Невозможно узнать. Я это уже проходил и упорно представляю это как электрическую цепь. Вроде как мне не удается замкнуть цепь. Знаете, как с током, он должен добраться из пункта Б в пункт А. Что, если во все другие разы, когда я это проходил, я не справлялся? А в этот раз мне, может, доведется замкнуть цепь. Звучит разумно, да? Это как в игре «Змеи и лестницы», когда приземляешься на змею и отчаянно пытаешься выбросить шестерку, чтобы добраться до лестницы и выкарабкаться наверх. Может, в этот раз мне выпадет две шестерки; или две единицы, проигрыш, змеиные глаза.

Я отсылаю файл и тут же об этом жалею, потому что, если они там еще принимают, наверняка думают, что я пал жертвой космического безумия, и такую я оставлю о себе память. От одной этой мысли меня разбирает смех, и мне приходится закусить губу, чтобы не разбудить спящего

Кормака.

Он лупит по циферблатам в носовой части корабля и снова их клянет, а потом видит его на экране. Я чуть не забыл. 250480. Ряд цифр — и не более того, и гудки системы, и красный огонек.

«Что?» — спрашивает он в пустоту и не получает ответа. Он сидит в кресле и одним пальцем постукивает по экрану — ногтем, чтоб вышел тонкий звук, которого я отсюда не слышу, но помню. Он вслух читает число и нажимает клавиши в попытке что-то понять. Через несколько минут экран заполнен файлами справочников: все, что вы хотите знать об операционных функциях корабля, раскрыто и обнажено. Он ищет по указателям — ничего, потом задает поиск по всему тексту — и ничего. Тогда он ищет предупреждения и проводит следующие несколько часов жизни, сравнивая несколько сот подходящих предупреждений, которые система может вывести на один из экранов, — ничего похожего. Настоящее предупреждение, включаясь, затемняет экран и гудит — всплывает повторно, пока не решится проблема. На этот раз начинаются гудки, через час после появления сообщения — нудное тонкое попискивание, словно скулит жалеющая себя собака. «Какого черта?» — вопрошает Кормак, стуча

по динамику — не замолчит ли. Он откидывается в кресле и смотрит на экран, на пустеющий показатель горючего, и понимает, что не может это быть совершенной случайностью. Совпадений не бывает. Если тело нездорово, симптомы связаны, потому что в теле все связано. На этом корабле все связано, только вместо мускулов провода, и все-таки. Дернешь провод — что-то перестанет работать. Мы не развернулись, хотя разворот был заложен в программе, а потом это сообщение и этот звук. Ну, должна между ними быть связь. Где-то ошибка.

Только я знаю, что ошибки нет, что разворот и не предполагался. Я все знаю, потому что здесь, за подкладкой, я почти всесилен. Я видел то, чего мне видеть не полагалось, и знаю. Корабль и не должен был разворачиваться. Он должен был унести нас в ничто, уплыть в пространство — да, туда, где еще не бывал ни один человек, но без надежды на возвращение или на помилование. Доводя случайность до логического заключения, это сообщение не ошибка и не предупреждение — оно предназначено для тебя. Предназначено для нас. Я смотрю на цепочку чисел, с трудом разбирая их ослабевшим зрением, но могу их прочесть, потому что их помню. Они явственно

пропечатаны на изнанке век или где-то в глубине мозга. Я их помню, и смеюсь над их назначением, и выскальзываю, и фантазирую — не грежу, потому что это подкладка, и я по-прежнему один, и этого ничем не изменить.

Когда он засыпает, я выхожу посмотреть, на что смотрел он, и вижу дальше. Я смотрю мимо компьютеров и экранов, в пространство. Звезды пропали. Там чернильный мрак, полная тьма. Ничто.

Чем бы ни было то число, вот оно. Вот. Ничто.

2

Вот что могло бы быть.

Койка, которой первой полагалось зашипеть, открываясь, закрыта до назначенного срока, потому что никакой блудный Кормак ее не открывал, не распахивал в отчаянном порыве к самосохранению. Выходит Арлен, мокрый насквозь, пошатывающийся, весь потный, пот течет с бороды. Он вытирается и запускает корабль, освещает помещения и включает программы диагностики. Он напевает себе под нос, потому что Арлен уж такой человек — часто поет. Он убеждается, что корабль безопасен для остальных, и приветствует нас, когда мы выплываем из открывшихся коек. Он подбадривает нас, пока мы не отправляемся в душ, а потом оставляет здороваться друг с другом и смеяться тому, что все мы в одном исподнем и мокрые до нитки. Я стою рядом с Эмми, и мы не особенно смотрим друг на друга, потому что обида еще жива — и потому что она знает про Елену. Она знает, как я ее любил, как хотел, чтобы у нас с ней получилось. Она в какой-то момент об этом скажет, но не теперь.

Приняв душ и одевшись — в одинаковые спор-

тивные костюмы с небольшими отличиями цветов на бейджиках, как в каком-то образцовом научно-фантастическом телешоу, — мы беремся каждый за свою работу, проверяем, все ли у нас есть, что нужно. Гай продолжает диагностику, Квинн сидит в кабине, снимает показания и проверяет, в порядке ли. Ванда переустанавливает койки, запускает отсос воды и цикл уборки. Эмми проверяет у нас пульс, у всех по очереди, и меряет давление, а я сижу за компьютером, загружаю его и начинаю первую запись. Мы только что проснулись, печатаю я, и это изумительно. Я решаю отставить Елену в сторону, потому что у меня есть дело и сделать его важно. Елена навсегда останется во мне, но она ушла, а мы живем сейчас. Это важно — не принижая ее, боже мой, нет, но это важно для человечества. Я должен держаться. Должен быть сильным.

Мы собираемся для передачи приветствия домой и рассказываем, как себя чувствуем. Телевидение передает это по сотням стран. Больше всех говорит Арлен, потому что он вроде старейшины со своей бородой, жизненной силой и здоровым сердцем. Он подшучивает над нами, остальными, говорит, что мы еще плоховато держимся на ногах, а сам уплывает вверх, из кадра.

Шутка заготовлена заранее, но все мы считаем, что она сработает, что дома ее хорошо примут. Кто нас смотрит? Это дети. Дети, сидящие на полу перед телевизорами, улыбающиеся нам, нашим лицам на своих стенах. Передача заканчивается, и мы все собираемся вместе, болтаем и едим первый корабельный обед — все еще разогретые пищевые батончики, биг-маки, чизбургеры и мак-ребрышки, но мы наслаждаемся вкусом, потому что это переживание не ведомо никому на свете. Я об этом говорю, а Квинн спрашивает, можно ли нам здесь так говорить. Можно ли говорить о целом свете, когда его больше здесь нет, спрашивает он, и мы задумываемся, потому что в его словах есть мысль. «Во Вселенной», — осторожно, на пробу предлагаю я, и мы соглашаемся, что так будет лучше, лучше всего. Мы — часть чего-то большего.

Мы выполняем свою работу. Ванда выходит в космос с друзьями, которых завела среди команды, и не чувствует за собой никакой вины. Она всегда счастлива, радуется, что попала в космос такой молодой. «Кому выпадает такая удача?» — спрашивает она, а мы отвечаем: «А вот тебе. Ты этого заслуживаешь». Она краснеет. Она выходит в космос и рассказывает, какой он невероятный,

и мы все ждем своей очереди. При следующей остановке Гай разрешает попробовать остальным. Гай жесткий и молчаливый, но мы ему доверяем, потому что в том, как тут все устроено, он понимает больше нас. Мы слушаемся, когда он говорит нам, что делать, и выполняем свою работу. Мы пишем домой и говорим с домом, а они присылают ответные сообщения, и все потрясающе. Однажды Эмми усаживает меня рядом с собой: «Надо поговорить», — говорит она и спрашивает меня о Елене, дает понять, что она в курсе случившегося. Со мной можно поговорить, то, что было между нами, не значит, что мы больше не друзья. И я рассказываю ей все, что случилось и почему случилось. Я говорю, как я виноват, а она слушает, и я плачу у нее на плече и смотрю, как слезы — капельки на щеках, густые и соленые — отрываются от лица и уплывают по воздуху к вакуумному насосу фильтрационной системы.

Мы обступаем счетчик горючего, посмотреть, как 52 % сменяются на 51 %, и тогда корабль гудит и скрежещет, и мы следим за разворотом и началом пути к дому. Мы встречаем разворот криками «ура», потому что достигли вершины, самой дальней точки. Мы видели космос. Мы выстреливаем с корабля капсулу с набором флагов

всех стран-участниц проекта, и она раскрывается, и вот главный — один гигантский единый флаг, не трепещущий, кроме как в следе наших двигателей, квадратный, яркий на фоне космической пустоты. Он отдаляется с нашим движением, уходит в вечное плаванье.

Мы садимся в море, в Атлантике у побережья Ирландии. Это неожиданность, но предсказать было почти невозможно. Мы знали, что посадка будет на воду, в курс обучения Арлена такая входила. Мы возвращались такими горячими, что других вариантов не было. Операторы бросаются запечатлеть нашу высадку: пар над аппаратом, шипение открывающихся дверей и нас, машущих им один за другим. Они выкрикивают наши имена. Квинн с Эмми выходят вместе, и все мы уже знаем, но рады за них. Квинн спрашивает, не против ли я: он не хочет меня расстраивать из-за Елены. Я от них ничего не скрыл. Все в порядке, говорю я ему. Они дают интервью для глянцевых журналов, держатся за руки, говорят о будущем, о детях, о свадьбе. Мои интервью серьезнее. Я пишу итоговую статью, подписываю договор на книгу — основательная шестизначная сумма, — и пишется мне легко. Там есть глава о Елене, о приведших к тому полету обстоятельствах, где я

доказываю, что это она определила мой настрой, что сыграла важнейшую роль. Без нее не было бы этой книги. Издателю это нравится. Человеческие трагедии хорошо продаются. Придают книге трогательную нотку. Пулитцера мне не дают, ну и что, правда? Зато я продолжаю писать, пишу роман, фантастику о человеке, попавшем в вечную петлю, в петлю времени, как во многих научно-фантастических сюжетах на последних страницах журналов — новых идей теперь не найти, но эта книга более человечна или стремится к тому. Я пишу эту книгу, и она неплохо продается, и по ней делают экранизацию, и Кормака не играет звезда, зато фильм получает приличные деньги, и я обеспечен, потому что инвестировал, и я познакомился с женщиной. Она иногда очень похожа на Елену, а при другом освещении на Эмми, и я иногда ее с ними путаю, потому что ее зовут Эмили, так что перепутать недолго.

После моей смерти меня в некрологах называют писателем и первопроходцем. Большего и желать нечего, я думаю.

В моих фантазиях всегда другие женщины, не Елена. Она не вписывается в картину, когда я в самом деле задумываюсь о возвращении домой,

потому что она мертва и убил ее я — или почти что я, — и никакие мои грезы этого не изменят.

3

Попискивание в каюте смолкает, и этого хватает, чтобы меня разбудить — самим прекращением звука. Он спит, так что я тихонько выбираюсь наружу. Как быстро сдаешь — он перестал бриться, ему все равно. Не помню, чтобы так редко мылся в душе. Пока на корабле были люди, мылся раз в день. С тех пор как пришлось убрать Эмми, не мылся. Ручаюсь, что он воняет. Про себя точно знаю.

Я принимаю душ, опорожняюсь и бреюсь. Я решил, что, хоть и разваливаюсь, могу разваливаться с достоинством. Он не знает, как ему хорошо. Я ем, принимаю таблетки, уже почти того не замечая, и сажусь к компьютеру, зная, что в нем будет, потому что я это уже думал. Он все еще ведет записи в блог, Кормак, — записывает, что сделал за день, свои мысли. Читать не стоит, так это наивно. Он ничего не знает.

Вместо того я пытаюсь разобраться, как это кончится. Закрываю глаза и пытаюсь вообразить финал своей жизни, свое плавание в пространстве. Помню, мне казалось, будто кто-то меня держит: может, это был я? Может, этот я, тепереш-

ний, спасает меня тогдашнего? Или я пытался, но не сумел? Надо лучше стараться. Может, мне предназначено его спасти, и, может, тогда окажется, что оплаченный УПИ корабль всего в сотне-другой километров от нашего, и, может, они его зацепят, и доставят домой, и залатают, и, может, вернут ему жизнь.

Знаю, что нет. А значит, лучшее, на что могу надеяться, — это не дать мне снова сюда вернуться. Потому что этого переживания воспоминаний, боли, смятения не пожелаешь злейшему врагу.

Я смотрю, как Кормак откупоривает бутылку шампанского, и смотрю, как пляшут по каюте пузырьки пены, а он плавает с соломинкой, ловит их и хихикает — пузырьки и алкоголь ударили ему в голову. Он напился в считаные секунды, это я помню. Он идет к компьютеру, и принимается колошматить по клавишам, и шлет сообщение домой, хоть и принимает одни помехи.

«Я по ней скучаю, — говорит он в микрофон, — и хочу домой, потому что мне так одиноко, и это нечестно, и так умирать нельзя. Это еще так надолго. Я так долго не выдержу. — Это я помню. Он говорит компьютеру, что намерен с этим покончить, достает из аптечки тонкую полоску пластика и подносит к запястью. И продолжа-

ет вещать в забитый помехами эфир: — Вы все это видите, — говорит он. — Вы видите, как мне больно, да? Потому что все они умерли, все до единого. Елена!» — Это крик. Отсюда, не будь это так больно, я бы назвал его жалким. Он не способен довести дело до конца, потому что слабак. Ничего не выйдет — он начисто лишен способности покончить с собой. Вместо того он плачет, и все роняет, и прибирает за собой, а потом спьяну пытается разобраться в курсе корабля, колотит по клавишам, открывает программы, в которых ничего не понимает. Все это я помню. Сдавшись наконец, он отправляется в койку — заползает в открытый гроб и закрывает глаза, и я слежу за ним, пока он не перестает бормотать, а потом выбираюсь из-за подкладки. На компьютере видно, что вся его стукотня была бесполезна и ничего не дала. Он этого не знает. Завтра он увидит, как быстро кончается горючее, и подумает, что это он натворил.

Я ввожу ему последнюю дозу снотворного и слежу, как он оседает на койку, когда возвращается гравитация. Я надеваю скафандр, привязываюсь страховочным концом, беру запасной инструмент. Я цепляюсь за корабельную обшивку и открываю панель, под которой управление дви-

гателями, и тупо разглядываю провода. Я понятия не имею, что делаю, но хватаю голубой провод и тяну за него. Мне кажется, этого хватит. Я уверен, что, когда вернусь и снова включу двигатели, топливо станет выгорать быстрей, что этот голубой проводок как-то управляет ускорением или скоростью подачи горючего и что корабль постепенно станет разгоняться и сжигать все больше и больше.

Я задерживаюсь снаружи и любуюсь космосом, пока не подходит к концу воздух в капсуле. Здесь по-прежнему спокойно.

Он замечает, что расходуется быстрей, чем положено, что счетчик горючего быстро сбегает к нулю. Он через Пузырь любуется пустотой и пытается обнаружить причину происходящего.

«Мы разгоняемся? — вслух спрашивает он, и, конечно, так и есть, потому горючее и уходит так быстро. — Боже!» Он снова и снова читает руководства, ищет в базе данных, ищет любых указаний на выход для себя. Мне его жаль, потому что я помню, каково ему было, и знаю теперь почему. Он сидит, уставившись на тикающие цифры, и паникует при виде попискивающего числа. Оно не объявляет о переменах в запасе горючего, но кажется, это как-то связано. «Сов-

падение», — начинает соображать он. Он что-то записывает и оставляет на экране, видимо, не закончив. Это первая запись, которую он не потрудился отправить.

Этой ночью, пока он спит, я покидаю подкладку, чтобы ее прочесть. Как обычно: всплеск эмоций, жалость к себе — страшно читать. Голос мой, но я ничего подобного не помню.

Я стараюсь сохранить равновесие, постоянство, норму, но я так долго здесь пробыл, что не могу вспомнить, каково это. В дневное время я веду себя правильно: не позволяю себе падать духом, выглядываю через Пузырь и гадаю, куда подевались звезды, и пытаюсь все исправить, развернуть корабль, но знаю, что все впустую. Я так далеко зашел, что возврата не будет: может, я и сумел бы дотянуть до Луны прежде, чем задохнусь и умру от недостатка кислорода, от иссякшей энергии, от израсходованного горючего, но тогда какой смысл? Они высмотрят меня в телескопы и найдут спустя месяцы после смерти — плавающий, гниющий бескостный труп. Что делает с телом отсутствие кислорода? Сохранит или совсем испортит?

Может, лучше мне остаться здесь, одному в пустоте. Может, лучше мне умереть, когда настанет

мой срок. Дома меня запомнят, Гай говорил, что запомнят. Они нас всех запомнят. Днем я стараюсь бодриться, потому что иначе покончу со всем этим здесь и сейчас. Но ночью, перед тем как уснуть, слышу, как скрипит корабль, и чувствую на себе взгляд, и глядящие на меня глаза думают: кончай с этим, Кормак, кончай.

Он говорит без умолку.

Я забыл, каково быть одному. В последнее время — долго ли? — у меня была остальная команда и Кормак, и все занимались делами, которые я не обязательно видел по первому кругу, и умели меня удивить, сбить с толку. Я был один, но не бывал одинок, если по правде. А сейчас — да. Кормак не компания. Я знаю, чем он занят, как левая рука знает, что делает правая. Он не делает того, чего мне хочется, когда мне хочется. Он сидит за компьютером, и скулит, и снова и снова смотрит видео. Он не отрывается от видео с Эмми, говорящей с ним как с посторонним.

«Я училась в Брисбене и Сиднее», — говорит она в камеру спокойно и с выражением, как нас учили на подготовке, готовя к интервью для прессы, которые мы давали перед стартом. Нам говорили, что после возвращения мы будем нарасхват, в календаре свободных дат не останется, так что

обучение пригодится. Она выкладывает это под камеру, как выкладывала бы кому угодно, но Кормак вычитывает в этом что-то для себя одного, что-то личное. Она уже тысячу раз повторяла этот рассказ, давая интервью прессе и на собеседованиях — обо всем, чем занималась. Кормак этого не замечает, ее не замечает. Он выключает все освещение, по всему кораблю. Помещение за помещением темнеют, кроме только главной каюты, освещенной неоновыми отсветами компьютерных экранов и циферблатов. Он сидит в кресле Квинна и изображает из себя пилота, но мне приходится напрягать зрение, чтобы его разглядеть, тем более теперь, в темноте, а он говорит сам с собой о спасательных экспедициях, проговаривает вслух, читает наизусть. Какой удар, когда погибла твоя жена, когда у тебя на глазах умирали друзья один за другим, не ведая, что ты (Гай!) тому виной или чертовски близко к тому — такая травма не может не сломать тебя на хер. Я думал, что вполне держался. Я думал — удивительно, как все видишь задним числом, — что был образцовым, типовым астронавтом. Если они сумеют добыть черный ящик, получат свидетельства моим умениям и душевной твердости.

Мы оба следим за числами на экране, хотя мне

отсюда они едва видны — размытые красные жидкокристаллические огоньки, из которых простые знаки — 1, 4 — различаются, а остальное приходится додумывать. У нас 39 % горючего, 94 % пьезоэлектрики. Пусть никто не говорит, что сталкивался с дежавю, пока не увидел того же, в точности того же второй раз в жизни и не ждал точно того же момента смены цифр, 39 на 38. Кормак следит и ждет, и наконец это происходит. Он не выглядит ни довольным, ни отчаявшимся — пустое лицо. Он открывает файл на соседнем экране, что-то печатает, включает секундомер, и запускает его, и следит за летящими по экрану числами. Он просто сидит и считает. Я решаюсь поспать и пристегиваюсь подальше, в корме, чтобы он не услышал, если я захраплю или еще что. Мне снится, что я в космосе и чем это кончилось: вращение, одиночество, все взрывается — корабль и я, — потому что так действует давление в вакууме, и мне снится густая чернота, поглотившая меня. Во сне она глотает меня раз за разом.

Я просыпаюсь дрожа, в поту. Принимаю еще обезболивающего, глотаю всухую, запивая слюной, и ложусь, опустив руку на сердце, потому что оно несется вскачь, колотится, словно хочет выпрыгнуть из груди. Под хлипкой плотью оно

будто грозит разломать мне ребра.

— Пожалуйста, — говорю я, потому что не хочу умирать, еще не сейчас. — Пожалуйста!

Кормак уснул наконец — развалился в капитанском кресле, свесил голову набок. Я покидаю подкладку, все еще держась за грудь, обхватив правой рукой левое плечо, как будто мешая телу развалиться. Я не понимаю, что происходит, но подтягиваюсь к аптечному шкафчику, как можно тише открываю его и, только встав над ним, свободной рукой не давая содержимому разлететься, понимаю, что боли нет, что я просто сплю. Я еще жив, и сердце колотится, но я в порядке.

Кого я дурачу? Какой там порядок?

В ванной, пока голова Кормака в кабине запрокидывается назад, я снова осматриваю себя. Еще один зуб, но этого следовало ожидать. Я разгибаю оба колена — места здесь хватает — и слушаю, как скрежещет кость о кость. Нам говорили, что хрящи сдадут первыми. Удивительно, что мне не так уж больно (тут я вспоминаю обезболивающие, способные свалить лошадь, а я не лошадь). Я осматриваю шрам у колена и другие на спине и гадаю, сколько времени срастается кость здесь, где кости работают не так, как им положено, и все тело не в порядке. Если б я продержал ее в шине

подольше в надежде, что сама срастется, было бы мне больно? Заработала бы она как положено? Я пытаюсь нащупать кость под кожей, и она как будто цела, но мне в это не верится.

Я — долбаная катастрофа. У меня нет надежды вернуться домой, нет надежды исправить хоть что-то из приключившегося дерьма, нет надежды что-то сделать для спасения. Я — расходный материал. Тот Кормак, что там, вот он важен. Если я сумею замкнуть цепь, он, возможно, проснется и не станет повторять сделанного. Или, может быть, вовсе не проснется.

Это я впервые понимаю, что, я думаю, должен сделать: ради спасения Кормака я должен убить себя — свою последнюю версию.

Кормак сердит, он даже в ярости. Он орет на безответные компьютеры.

«Почему так быстро выгорает топливо? Не должно быть так быстро!» Он находит и записывает показание скорости, а потом ищет и не знает наверняка, но думает, что скорость больше положенного. Так и есть. Я теперь знаю о проделке Гая, как он старался облегчить нам происходящее. В каком-то смысле мы могли бы быть ему благодарны — или я, потому что только я и остался. Я — все, что осталось.

Я иногда путаюсь с временами. Сейчас — это сейчас или потом? При таком раскладе запутаться легче легкого.

В кино про нас, допуская, что кто-то его еще смотрит, что кто-то сидит в кресле и зачерпывает еще горстку попкорна, в этой сцене я расхаживаю по комнате, перебирая идеи, одни отбрасывая, а другие записывая на гигантской школьной доске. В реальности я с ручкой и бумагой лежу за подкладкой и делаю мельчайшие, почти нечитабельные заметки ни о чем. Я ничего не могу изменить, потому что каждый раз, когда я — или мои предыдущие версии — что-то менял, все перезагружалось к моменту, когда мы… что? Вошли в стазис? Завершили переход? К моменту, когда я ничего не могу изменить. Я гадаю, закончится ли петля вместе с жизнью Кормака. Или я снова проснусь на старте — или другая моя версия — и вынужден буду снова и снова все повторять — целую вечность, пока мое тело не обветшает до того, что я не сумею даже открыть ту дверцу и убить Арлена, и тогда петля станет перезагружаться у самого начала, и тогда я в вечном аду? Может быть, вот и ответ: я в аду. Умерев, я начну сначала, в петле, снова почему-то живой, изломанный, но действующий. Может быть, я буду повторять

это, пока петля не станет кружить меня в агонии, гоняя по кругу, от смерти к смерти, снова, снова и снова — боль, мука и петля, и больше ничего до скончания времен. Твою мать!

Кормак сумел разобраться, сколько времени проходит между сменой процентов на счетчике, а значит, составил график, подсказывающий ему, сколько осталось. Так это не останется — что-то произойдет, и горючее будет расходоваться еще быстрее. Пока, по крайней мере, он вывел ситуацию на пат. Он сидит и считает от десяти под приложение секундомера, пока не сменятся числа.

Три, два, один… — Он точен. Показания опускаются к 33 %. До ускорения еще около недели. Что мы с ним будем делать все это время?

Мне не дает убить себя одно: понимание, что я, возможно, проснусь с перерезанной глоткой на полу корабля и буду умирать, пока рана каким-то образом не залечится, и тогда буду облегчать эту боль, эту муку все обозримое будущее. Лучше уж прожить все до конца. Должно быть лучше.

4

Как он много спит. Он спит, а потом просыпается, и делает записи в свой долбаный блог, и читает от корки до корки руководства по кораблю, читанные разве что Гаем. Он ищет в компьютере объяснения некоторых фраз, уравнений и кивает, будто понял. Не понял. Он ни шиша не понимает, крутится на месте как дурак. Он идет к Пузырю, выводит и совмещает виды и делает заметки, в своем блоге описывает увиденное, потому что если они примут передачи — он знает, что, рано или поздно они дойдут до Земли, хотя, возможно, искаженными и с опозданием (а я теперь знаю, что, учитывая, каким задумали в УПИ этот наш полет, их могут вовсе проигнорировать или положить под сукно, потому что кому нужно публиковать этот бред? Они не герои, не бесстрашные, всего лишь один человек со своей головой), — потому что, если их восстановят, это будет последнее, что он написал. Он в своем заблуждении воображает, будто пишет собственный некролог.

Как знать? Я надеялся на Пулитцер, хотел стать журналистом, раздвинувшим границы, поведавшим человечеству нечто новое. Может быть, эти

предсмертные мысли осуществят мои желания.

Он говорит о том, в чем ничего не понимает, вставляет названия галактик и туманностей и описания, которые ему самому ничего не говорят: красочная речь, внушающая, будто в ней есть смысл, намекающая на знания, которых у него нет. Если бы Эмми не спала, она назвала бы меня нарциссом. Она напоминала бы, что он — это я, и что все это делал я, и что сейчас я так на это смотрю, потому что вижу со стороны, потому что могу оценить все как оно есть. Всякому, сказал бы я, нужен антагонист, и он — мой антагонист.

«Видишь? Классический нарциссизм», — сказала бы она.

После многих дней сна я просыпаюсь, когда он нажимает кнопку и мы останавливаемся. Я едва не вскрикиваю, потому что свалился с высоты в фут или два, ремни обвисли, и я ударяюсь спиной об пол — тем самым местом, где царапина, уже подсохшая струпом. У меня теперь беспрерывно все ноет — очередная жалоба. Я стараюсь не шуметь, но, в сущности, мне почти наплевать. Не думаю, что он бы заметил. Он снова выводит то видео с Эмми и разглядывает ее на экране. На другом экране у него фотографии Елены, он выбирает ту, что снята в Кромере, увеличивает

ее и плачет. Он рассматривает обеих и сидит, упиваясь виной и оплакивая себя. Видел бы ты себя, думаю я и смеюсь этой мысли, потому что она совсем никчемная. Господи боже, Кормак. Подтянись!

При выключенном свете мне труднее за ним следить. Я вижу его силуэт в кают-е и зале, но в коридоре он призрак. Догадываюсь, что он видит лучше меня, и у него на одежде фонарик, какие крепят на спасательные жилеты, так что я вижу, когда он его зажигает. Она находит еду, какую ему хочется; я, покидая подкладку, хватаю, что попало под руку, шарю в темноте и стараюсь не нашуметь. Почему-то при всей его жалости к себе и нытье он — альфа-самец, а я подбираю за ним крошки.

Мы проводим так два дня. Целых два дня ничегонеделанья, наблюдая, как крутятся цифры на счетчике пьезоэлектрики и редеет воздух. В его хреновых подсчетах он — единственный, кому здесь нужно дышать, а здесь, за подкладкой, за вакуумными насосами и трубками подачи воздуха, страдаю я. У меня кружится голова, и я большую часть дня не поднимаюсь. По первому кругу это представлялось — я помню то ощущение — чуть ли не приключением. Я помню, как старался не

падать духом или, по крайней мере, так писать в блог. Теперь я читаю те записи, и они ужасны, унылы, мрачнее мрачного. Он страдает, а я его за это ненавижу. Ему следовало просто покончить с собой. Собраться с духом, чтобы поступить как мужчина — в ванной, в душе, ножом по горлу или по запястью или включить гравитацию и взять страховочный трос, привязать к чему-нибудь. Я вижу, как он обдумывает это, глядя на фото Елены — он их разглядывает и иногда что-то пишет — записывает файл о ней, из которого мне удается прочесть всего фразу и отвернуться, потому что это еще слишком свежо. Я думал, что уже свое отплакал? Я буду оплакивать ее всегда.

Вы, если бы могли, сказали бы, может быть, что я был не виноват, но я был виноват, и виноват, и всегда буду виноват, и никогда больше вас не увижу.

Он вместо того пересматривает все видео, но почти не смотрит — они для него просто компания, голоса в тишине корабля, что-то, кроме его голоса, чтобы отражалось от стен. Я выхожу, смотрю на него спящего и представляю, как зажимаю ему ладонью рот и нос, наваливаюсь всем весом, пока он пытается вывернуться, не отпускаю, но этого не было. Если убить его, я кончу здесь же. С

тем же успехом можно хоть раз дойти до конца — если сумею.

(Мне снова смешно — еще одно смешит меня в этом проклятом положении: что Гай бы мною гордился. Я стану первым Кормаком, замкнувшим петлю этого куска своей жизни, и единственным в истории человеком, дважды увидевшим самую удаленную точку в пространстве. Мне бы полагалась медаль.)

Исчерпав интервью, снятые им с Эмми, он переходит к видео с Квинном. В них нет злости, он смотрит их ради компании, иногда вклиниваясь туда, где он в записи задает вопросы. Он повторяет вопросы, проговаривает их вслух, и я раз или два ловил себя на том, что делаю то же самое: мы трое в разное время говорим одно и то же. Мы такие предсказуемые. Способен ли человек измениться? Разве что задним числом, и даже тогда я бы на это не полагался.

Наконец он снова включает двигатели и орет в глубине корабля.

«Я иду спать», — говорит он, ни к кому не обращаясь, но для меня это сирена. Я поднимаюсь на ноги и считаю до ста. Ему всегда было легко засыпать. И сегодня будет так же.

Взгляд на его лицо наводит меня на мысль,

какой он чужой. Я пишу для отправки домой кое-что другое.

Я могу попробовать с этим примириться, увидеть в этом смысл — я ведь, так сказать, здесь не в первый раз, и вот я пытаюсь все как-то сложить, но я был здесь в первый раз, коль скоро все это случилось, и это не может быть совпадением. А значит, я всегда здесь был. Время — прямая линия, и моя жизнь лежит на этой линии до момента взрыва, пока первый я, оригинал (или оригинал — это еще я? Не знаю) — пока первый я не возвращается к взрыву, а тогда он проделывает все снова, снова и снова, исписывая линию времени своими каракулями. Не думаю, что в петлю замкнулось время, только я. Там, дома, они ничего не поймут. Будут продолжать, как раньше.

Даже не спрашивайте меня, почему так случилось. Я слишком долго об этом думал, я готов сойти с ума (если еще не сошел). Если этому предназначено было случиться, мне остается только идти до конца. Если я замкну петлю и вернусь еще раз, тогда что ж, новый план. Какой-нибудь еще. Этот мост я перейду, когда дойду до него.

А если мы до этого не дойдем, никто никогда этого не прочитает и все это ничего не значит.

Проснувшись, он увидит, что мы по-прежнему теряем горючее, потому что так было в прошлый раз, и впадет в панику, и этого никак не изменишь. Мне остается только ему не мешать и смотреть, как он гонит нас к… чему бы там ни было.

Он просыпается и паникует, как я и знал, и хватает свой скафандр.

«Если выйду в космос, может быть, сумею исправить», — говорит он, но не сумеет, и мы оба об этом знаем. А все же он хотя бы пытается. Это заслуживает восхищения больше всего, что он делал до сих пор, впервые он на что-то решился. Я слежу, как он переодевается в скафандр, входит в шлюз и закрывает за собой дверь, смотрю, как он скрывается из поля зрения. У меня есть несколько минут, так что я выбираюсь наружу, и впервые весь корабль предоставлен мне одному. Конечно, прежде — когда я еще был первым Кормаком, — я думал так же, но было не так. А сейчас, здесь, я действительно один. Какой-то бес подсказывает мне включить двигатели, поджарить его, угнать корабль — выйдет самая дорогостоящая авантюра за всю историю. Конечно, я этого не делаю. Вместо того я принимаю еще обезболивающих, напиваюсь чистой воды и смотрю на оставленное

на экране фото Елены, на которое он таращился, уходя в воспоминания.

Сколько бы я ни корил его, что так много времени на это тратит, но по правде сказать, дай мне возможность, я сам бы так делал.

Он снаружи не находит в корабле никакой неисправности, потому что ее нет. Не приходится чинить никаких труб, нет никаких дыр, ни одной утечки. Так и должно быть, Кормак. Так все и происходит.

Кормак включает свет, на минуту ослепляя меня. Он без дела, он растерян и мечется от терминала к терминалу, от действия к действию. Он все еще смотрит видео в компании умерших, рассказывающих о себе при жизни — не о настоящих, а о таких, какими представляла их публика. Квинн рассказывает о пилотской жизни, но он был больше этого. Эмми говорит о работе врача, о целительстве, но ни разу не упоминает себя лично. Лично она пила, смеялась, шутила, флиртовала и ни разу не вспомнила, что она врач. В записи голоса другие, почти, с налетом профессионализма, какого никогда не бывало на тренировках. Он сломался. Тяжело видеть его таким. Он находит остатки шампанского. Он пихает в себя еду, вместо обеда ест сладкие батончики, и

смеется, смеется, и записывает себя смеющегося, и отсылает запись. Он пьет шампанское и рыдает, рыдает во фляжки, высасывая их через соломинку. Еще не допив, плавает по каюте, свернувшись клубком, и содрогается в рыданиях. Он пьет больше, чем думал выпить, и его тошнит, я помню, как тошнил в мешок, а потом он снова плачет, заливается слезами и снова и снова повторяет имя Елены, снова и снова, сквозь плач. Когда он отключается — паря в воздухе, как одержимый ребенок из кино, спина у него выгибается, руки и ноги свесились, болтается запрокинутая голова, язык вывален, глаза дергаются под веками, — я покидаю подкладку и помогаю ему улечься в койку. Он мог бы застать меня — и все было бы кончено, — но не застает. Я укладываю его в койку, пристегиваю, и он лежит не шелохнувшись.

Я захватываю с собой за подкладку шампанское и батончик-бургер и батончик — вишневый пирог, сижу, ем и думаю, как мало осталось времени.

Я всегда говорил, что больше всего, когда практически прекратилось издание бумажных книг, меня огорчало, что я не мог предсказать, долго ли ждать конца. Я мог бы узнать, но то чувство, то ощущение всезнания пропало. Я когда-то любил

ощупывать пальцами оставшиеся страницы, истончавшуюся в пальцах стопку бумаги, и сжимать ее, и гадать, сколько осталось до конца. Я любил окончания, если они хорошо написаны: я любил осознание, что это конец, потому что так суждено. Окончание — это завершение, это само по себе удовлетворение.

Отсюда я могу пощупать оставшиеся страницы и знаю, что осталось недолго. Я это уже проходил, но чем кончится, пока не знаю.

Его будит дурнота, он обеими руками зажимает живот, сдавливает изо всех сил. В невесомости еще хуже, это я помню: кажется, что живот и близко не унимается. Знаете, как крутит внутри после рвоты? Это чувство не уходит. Его выворачивает в пакеты, и он сует их в мусоропровод, и зажимает себе живот, и скулит. Он еще пьян и глотает воду, пока ему снова не делается дурно. Он спит и плачет во сне, он как ребенок. Трудно оставаться в стороне, но так должно быть. Я все помню, хоть и был в таком состоянии. Я был в этом состоянии. Я помню, что был один. Проснувшись, он сидит перед компьютером и плачет, плачет, потому что ужасно себя чувствует: больным, погибшим — и потому что тоскует по Елене, и потому что она умерла, и в нем столько вины, что он даже на

похоронах ее не был, и потому что он одинок. Он знает, что тоже умрет. Может, к этому времени он еще не признаётся в этом себе, но знает.

Все, кто смотрит это кино, знают. Я только потому в этом уверен, что уже видел.

Похмелье в космосе не то что на Земле, здесь не на что опереться. Когда тебе кажется, что стены вращаются, так оно и есть. Кровяное давление уже пошло на фиг, так что это ощущение — что ты пьян, что алкоголь и правда в крови — длится куда дольше. Нас люди из УПИ перед отлетом предупреждали не увлекаться выпивкой.

«Шампанское — для праздника, на всех. Не пейте всё разом, будет очень худо». Я это помню, и Кормак теперь вспомнил. Не уверен, что вспомнил до того, как напиться. А может, в том и был смысл. Он горбится, уставившись на числа — счетчик жизни, тикающий к нулю, — а потом крутит видео с Арленом и смотрит, как большой бородатый, больше натуральной величины, человек смеется и шутит на первом из отснятых видео, еще до взлета. Он не закрывает рта, дожидаясь, когда уберется съемочная группа, закончив со своими крупными планами, эпосом, широким экраном, 3D, и когда дойдет до инъекций перед стартом. Он рассказывает о команде.

«Они хорошие ребята, — говорит он, — это к лучшему: с хорошей командой все пойдет намного быстрее».

Кормак плачет — кажется, теперь у него это типовая реакция на что угодно. Я уже прошел эту стадию.

Видео с Гаем. Черт, кажется, я не хочу их видеть. Кормак в них копается, потому что воображает, что в них — тайны Вселенной. Он доверял Гаю по умолчанию, а эти видео — эти короткие, совершенно пустые интервью — вероятно, сплошная ложь. Гай улыбается, шутит, советует Кормаку ничего не трогать. Он все время лжет, а Кормак и знать не знает. Он говорит тому я, что на видео, что значит быть первопроходцем, проповедует, какое прекрасное чувство будет у нас, когда мы исполним то, что делаем. Закончив, Кормак делает новую запись в блог — возможно, о том, что Гай бы знал, что делать.

«Он бы сумел все исправить, — пишет он. — Он бы не попал в такую передрягу, он бы добрался до дома, и это — это стоило бы усилий — для него». Когда Кормак наконец засыпает, я выскакиваю поправить его запись.

«Гай был подлый предатель, — пишу я, — и если вы в центре управления это читаете, вы

тоже такие. Надеюсь, вы ненавидите себя за то, что сделали. Надеюсь, вы чувствуете вину».

Мне приятно это написать, высказать, выложить. Я отсылаю запись.

Проснувшись, Кормак снова выводит видео с Гаем на фоне шумов. Гай говорит о знаменитых первооткрывателях.

«Вас запомнят навеки!» — говорит он.

— Шел бы ты! — вслух говорю я. Кормак меня не слышит.

Весь следующий день он читает и перечитывает числа, он видит числа и снова пытается разобраться, что они означают, как будто хранящиеся в системе энциклопедии могут обновиться и в них чудом появятся ответы на его вопросы. Он вводит их в компьютер, и я наблюдаю, как он целый день перечитывает уже читанное. Он углубляется в тему инопланетян — мы снова возвращаемся к мысли, будто происходящее может иметь смысл, будто что-то — порыв фантазии — может развернуться в идею вторжения, внеземной жизни и что еще многое можно запихнуть в консервную банку, прежде чем умрешь. Он знает, что их не существует. Он знает, что здесь, так, в сущности, близко к Земле, меньше десятой того, что одолели запущенные в глубокий космос

спутники и зонды, нет надежды что-то найти. Знает, но надеется. Я — нет. Не то чтобы я сдался: я просто не знаю, куда мы пойдем дальше.

«Спасите!» — скулит он.

— Я бы спас, если бы мог, — говорю я. Я весь день жду, пока он уснет, а он не спит, и мы снова совсем потеряли счет времени, потому что здесь как в Арктике — вечный дневной свет от светильников. Я за подкладкой принимаю обезболивающие и сплю так чутко, что, скорее, вовсе не сплю. Я не припомню, когда в последний раз спал целую ночь, каково это — опустить голову на подушку, ощутить неподвижность кровати и уплыть в настоящий сон. Я не помню, что такое настоящие сновидения: такие, как бывали раньше, отзвуки предыдущих моих версий, они не имели никакого отношения к моему бездействию. Они, скорее, помогали мне держаться. Я жду, когда Кормак уснет, чтобы мне можно было выйти, но он не спит, и я наблюдаю за ним.

Я понимаю, что мне уже не спать до смерти, во всяком случае, не спать в кровати с одеялом, подушками, матрасом, с теплом лежащего рядом человека, делящего со мной пространство.

«Я просто хочу попрощаться с Еленой, — произносит он. Он смотрит на ее фотографию, а

корабль полон шума веселящейся команды с первого отправленного домой видео, где мы лгали и молчали про Арлена. Шум веселья цепляется к каждому слову Кормака, нарастает и спадает с удивительной безмятежностью. — Я так по ней соскучился. — Он гладит ее фото на экране, а потом обхватывает себя руками, крепко обнимает, морщась от каких-то своих мыслей. — Это так несправедливо!»

Он снова протягивает руку, включает видео с Эмми себе в наказание, потому что он настолько близок к признанию вины, насколько на это способен. Он смотрит, как она рассказывает о своем обучении, улыбается непринужденной, полупрофессиональной улыбкой, и он колошматит по клавиатуре, записывая письма к Елене, к своим родителям. Он знает, что те их не прочитают — что это никак не возможно, — но это его не останавливает. Он плачет и пишет им, поначалу обретая в этом очищение и силу, потому что в них есть настоящий смысл, а потом спохватывается, что наделал, ведь люди, которым он пишет, еще более мертвы, чем он, а отсюда нет возврата. Ему только и осталось, что присоединиться к ним, а он всегда был атеистом, никогда не верил в высшие силы, тем более здесь, где так холодно,

темно и абсолютно ничего нет.

Завтра он сломает ногу. Мы почти дошли, Кормак. Почти справились.

5

Когда тот Кормак дает нам силу тяжести, я держусь на подкладке, упираюсь, чтобы не свалиться, и не вижу, как падает он, но слышу, как трещит его нога при неловком приземлении — так невысоко падать, но так губительно. Я невольно морщусь и принимаю обезболивающее — это нутряная реакция, рефлекс. Он воет, и к тому времени, как я на цыпочках подбираюсь к вентиляции, мне видна кровь, промочившая его белый костюм, изогнутая нога под штаниной — как коленчатая труба — и торчащая наружу кость. У меня от одного ее вида начинает болеть нога, и я тру себе шрам, неровно и плохо зажив-ший. В кающе он подтягивается к аптечке Эмми, выдергивает ящики и при этом рычит, как собака на цепи. Он на удивление выносли в — переносит боль куда лучше, чем я ожидал, даже без слез, только подвывает от боли. Он хватает шприц с обезболивающим, всаживает себе в шею и жмет на поршень, а я смотрю, как у него появляется стеклянный блеск в глазах, как вещество попадает в кровь, снимая острую боль. Этого мало — он тут же всаживает себе еще и старается не

замечать, под каким углом торчит кость, и крови тоже. Если позволит себе подумать о крови, он, скорее всего, сорвется. Дальше идет инъекция антисептика, чтобы избежать заражения, он колет себя, как опытный профи, отчаянно сражающийся за жизнь на каком-то поле боя, а потом смеется, вспомнив, что ему все равно умирать, антисептик от этого не поможет, и все это — боль, кость, риск заражения — ни малейшего значения не имеют для мертвеца. Он решает перевязать и закрепить ногу, потому что нуждается в подвижности. Он не намерен просто так лежать на полу в ожидании смерти.

Я точно не помню, но думаю, как раз в этот момент я решаю сам с этим покончить, чем тянуть до конца. Я вижу, как он отключается — как я тогда — и то и дело приходит в себя, раскачивается от сознания к бесчувствию. Он накладывает на ногу шину, потому что считает, что так надо. Он все спит, и я, если бы не знал, забеспокоился бы, что он умер, но нет. Я знаю. Меня подмывает выйти отсюда, посмотреть, что я могу сделать, но я ничего не могу. Это прошито, вырублено в камне. Я ничего не могу изменить, и всего через несколько секунд — полминуты? минуту? — я вернусь к началу. Досюда я добрался — посмот-

рим, каково умирать.

Он, проснувшись, возвращает силу тяжести, заводит двигатели, смотрит, как кричит на него 9 % с экрана, и попискивающее 250480 говорит ему что-то непостижимое. Спустя некоторое время засыпает в койке, пристегнувшись, но с открытой дверцей, чтобы нога свободно плавала. Он оставляет ее свободной и виляет ею, дергая во сне, как кошка хвостом. Я улучаю несколько минут, чтобы выбраться из-за подкладки, и сам делаю запись в блог.

Принятие — последняя стадия горя, так? К тому все и шло?

Он кашляет во сне, и я подтягиваюсь в промежуток между стенами. Он не просыпается, но мне нельзя рисковать. Дни, когда все было нипочем, миновали.

Мои первые интервью, после того как я осилил все бумаги, анкета была отослана, проштампована и одобрена, и кто-то где-то записал мое имя в числе потенциальных кандидатов. Нас отправили в нью-йоркское здание без таблички на стене, вроде как секретное. Мы ждали в комнате без особых примет, журналы на столике отражали лишь вкусы секретарши, и мы листали их, стараясь не встречаться взглядами. Мы не знали, зачем там

остальные — не знали, из какой они области и вообще затем ли, зачем мы. В том здании было такое множество кабинетов, и каждый мог заниматься другим проектом УПИ, и выпытывать было бы неправильно, я и не выпытывал. И остальные тоже. В глубине души я гадал, не прохожу ли первую негласную проверку: сумеешь ли пройти первый этап, не разволновавшись, не развязав язык. Я прошел под развернутыми знаменами.

Когда меня наконец вызвали, я сел в удобное кресло, одно из тех экспериментальных, которыми обставляют не всякий офис, лицом к комиссии из трех человек — две женщины и мужчина, все старше меня. Они назвались, пожали мне руку и спросили, почему я подал заявку.

«Потому что хотел что-то найти, — сказал я. — Мне всегда этого хотелось. — Они это записали. — Смею спросить, зачем вам это знать?» Я держался развязно, нахально, но я таким и был, я привык быть таким — журналистом. До смерти Елены, когда мой мир рухнул.

«Это крайне важно, — ответили они, — потому что есть люди, стремящиеся к славе, к вознаграждению, а мы не особенно такое поощряем».

«То есть мой ответ правильный?» — спросил я, и они улыбнулись, но не ответили. Мне задавали

и другие вопросы: о здоровье, Елене, родителях, — а потом сказали, что со мной свяжутся. Они встали, чтобы пожать мне руку, и каждое пожатие было крепче предыдущего, а я поблагодарил за предоставленную возможность и вышел. В приемной я застал тех же людей, кусавших ногти или просматривавших электронную почту, и задумался о каждом из них: потому ли они хотят лететь, что полет их волнует, или ради возможности вставить это в резюме. Я оглядывал каждого и надеялся, что второе, что они не получат это место, а я получу, потому что, думал я, мои намерения чисты. Я этого заслуживаю.

Экран заполняет видео с Вандой. Она изображает волнение, а потом, подавшись к камере, шепчет, что панель управления — муляж, а потом показывает, что шутила. Она не шутит. Она знает, что предстоит. Она все знает, и не может этого пережить, и знает, что нас всех ждет смерть. Вопрос только когда.

Тот я сидит за компьютером, и снова все перечитывает, и натыкается на фрагмент с аварийным протоколом, когда аппарат сбрасывает груз, чтобы облегчить себя, и выстреливает стазис-капсулы в направлении Земли с отдельными парашютами, а остальной корпус взрывается,

распадается, чтобы без вреда падать на Землю, на людей, в море и прочее. Для него это — эврика. Он все терзается: неподвижен, отупел и одурел от принятых лекарств — как и все мы? Я думаю — а он читает, как это делается, перечитывает снова и снова и начинает вводить в компьютер непонятные ему команды, вычитанные в инструкции. Я только теперь задумываюсь, зачем она там — предохранитель, который нам не суждено было использовать, — и догадываюсь, что его намеревались задействовать, если бы что случилось при старте, тогда груз сбросили бы с кормы, чтобы он, не причинив вреда, упал в море, откуда мы стартовали, позволив спасти содержимое корабля и, может быть, нас, если там и вправду были парашюты. Он нажимает клавишу «ввод», и двери основного корпуса закрываются, и я понимаю, что оказался взаперти — мой путь до него лежит через эти двери, через подкладку, через грузовые трюмы.

Он снова жмет клавишу, и с жутким грохотом и скрежетом открываются не открывавшиеся до сих пор двери, и меня накрывает холод — не настоящий, а просто притяжение извне. Между мною и космосом практически ничего, ничего герметичного, воздухонепроницаемого. Я спо-

хватываюсь, что у меня считаные секунды, пока не открылись все двери. Я торопливо проталкиваюсь к вентиляции над раздевалкой, со всех сил пинаю решетку, наваливаюсь плечом, и она поддается, а потом вылетает, и я внутри, нахлобучиваю на голову шлем, пропихиваю голову так, что воздух выходит толчком, захлопываю щиток визора, дышу, вожусь с циферблатами, давая себе сколько-то времени, обеспечив себе дыхание, а потом воздух высасывает из раздевалки и от меня, и времени у меня нет. Раньше эти двери никогда не открывались. Я закрепляю трос, потому что мне вдруг страшно умирать. Не хочу.

В корабле вдруг делается тихо — ушел весь воздух. В грузовом трюме, в раздевалке все, что было не закреплено, вдруг отрывается от пола. Плавает, и я тоже плаваю, зная, что Кормак сейчас запускает отсчет, и я плыву к разделяющей нас двери, заглядываю во встроенное прозрачное окошко. Надо его остановить. Если я зачем-то здесь нужен, то, конечно, только ради этого?

Его надо спасти. Я колочу в дверь, но знаю, что он не услышит, и колочу еще громче, потому что ничего другого не остается. Он нажимает кнопку, и свет меркнет, цифры сметает с экрана, их место занимает счетчик.

30. Он так и сидит в кресле Арлена, глядя на экран. 29, 28, 27. Я, в свою очередь, смотрю на него, и тут я вижу за передним окном черноту, резко выделяющуюся на фоне звезд, как лужица нефти, но скользкую, плывущую перед нами. На первом круге я ее не видел, глаза застилали слезы. 26. Я добираюсь до Пузыря, 23, и смотрю на нее, и Пузырь выбрасывает мне показания: «АНОМАЛИЯ, — говорит он, — АНОМАЛИЯ 250480». В прошлый раз — в первый раз — я этого не видел, увидел слишком поздно. Что мог сказать мне компьютер о происходящем со мной, об ожидающем меня? Теперь он сказал мне все: с нами здесь что-то есть. Со мной.

Это и было нашей дополнительной целью, а может быть, первоочередной, просто мы об этом не знали: Гай только о ней и говорил, а мы не слушали, потому что наукой должны заниматься ученые. Это ее он собирался измерить, о ней волновался, к ней тянулся. Он лгал. Он о ней знал — как она огромна, как массивна, как наверняка что-то означает. И где она — там, куда нам было не дотянуться. Однако он знал, как до нее дотянуться. Для него это было делом жизни, и он знал, что оно приведет к смерти. Вот почему на экран то и дело выводилось то сообщение — оно

было предупреждением. Мы летели навстречу грозе, но нам не суждено было передать домой, как она сильна, и рассказать, как с ней сражаться и что она с нами сделает. От нас требовалось только определить для них, где она расположена. Впрочем, она ведь могла оказаться безобидной, просто пятнышком на оконном стекле. А могла и чем-то важным, смертельным для человечества, скользящей в пространстве, чтобы проглотить нас целиком. Полагаю, я провел в ней какое-то время. Наверное, поэтому так темно. Поэтому мне пришлось проходить это снова и снова. Теперь мне уже не узнать, не в этот раз. В этот раз, если по правде, это не имеет значения.

Осталось четырнадцать секунд, а я читаю на экране, насколько она выросла, а потом на основании этих данных предполагаемый рост, и не знаю, насколько она разрастется и что это значит, но мне хочется думать, что это значит, что Гай действительно старался нас всех спасти, вроде как она станет так велика, что поглотит всю Землю, и, может, он с самого начала не был мерзавцем, закончившим жизнь как мерзавец, а тем моим другом, который выглядел таким рассудительным и понимающим, что делает. Ради большего блага.

3, 2, 1, и корабль трескается, и выстреливают капсулы, я слышу, как они с ревом проносятся мимо, а потом все смолкает. Так и должно быть. Передняя стенка Пузыря разваливается, и вот я плыву вместе с большим куском корпуса, еще похожим на шлюз, — металлический ящик, оттягивающийся назад. Корма передо мной, его, пристегнутого, выкручивает вперед вместе с креслом, тянет в черноту аномалии. Он в нее врежется, и это отправит его к началу, заставит проделать все заново. Я должен этому помешать, спасти его.

Я изо всех сил отталкиваюсь от Пузыря, запускаю выброс CO^2, понимая, что остались секунды, пока это не потеряет смысл, пока с ним не будет кончено, и вот я уже в его кресле и вытаскиваю его, а пружинный трос натягивается, но он все еще опережает меня. Я привязан к шлему и сдергиваю его, потому что надо же что-то делать. Давление меня ослепляет, и нас учили закрывать глаза, но я не закрываю, потому что все равно конец один. У меня остались секунды, секунды, и тут до меня доходит: так это и было. Я был здесь с самого первого раза, потому что иначе этого не могло случиться, и я чувствую на себе руки, потому что я летел почти в черную стену, лип-

кую, плотную, как густые чернила, и чувствовал, как кто-то — я сам, моя будущая версия, тот я, сейчашний, спасает меня, оттягивает от черноты в пустоту позади нас. Это парадокс, замкнутая петля: я был здесь, чтобы могло случиться то, что случилось. Время нельзя изменить, потому что так говорит мне нутро. Я делаю синтаксический разбор: я могу проделать именно то, что в прошлый раз — схватить его и затолкать в черноту, потому что сделать это мне предназначено. От любой мысли о том, чтобы сделать что-то другое, мне делалось больно. Но только здесь и сейчас боль для меня очень мало значит. Кормак — определяющая версия, а я просто позднейшая, версия, которой не должно было существовать. У меня остались секунды, чтобы все изменить; секунды, когда все может стать чем-то другим, и я должен освободить нас обоих. Та чернота — чем бы она ни была — отправит его (или меня) снова на старт, продлевая наши жизни на неопределенный срок, обрекая на ад. Теперь я должен собраться с духом, чтобы сделать то, чего не смог он. Я принимаю решение, и нутро орет на меня, болит, горит, и я чувствую, что это неправильно, но должен это сделать, потому что это, может быть, единственный шанс. Что, если во все другие разы, когда я

был здесь, я думал, что должен сделать то, что сделал? Что, если я думал, что мне предназначено замкнуть цепь, довести ее до совершенства, завершить? Спасти Кормака, затолкав его в аномалию, потому что это путь, ведущий к жизни.

Может, в этот раз надо испытать другой способ.

Прежде я переворачивался и был спасен. Теперь я растопыриваю пальцы, а он открывает глаза и видит меня, и я говорю ему, что все будет хорошо, но на этот раз я лгу. Я вцепляюсь в него и снова выстреливаю CO^2. Я оглядываюсь назад и вижу, как он отскакивает от черноты, как брошенный камень отскакивает от поверхности воды, только что такой тихой, а теперь разбитой, потревоженной, и я цепляюсь за Кормака, вместе с ним отталкиваюсь от аномалии, от продолжающего разваливаться корабля, от черноты, от всего. У нас с ним остались только мы, он и я, я и он, и я делаю то, что должен. Он кашляет, он задыхается в моих руках, а я не смотрю на то, что, как нас учили, должно с ним случиться. Я чувствую, как он умирает у меня на руках, а потом чувствую, как то же происходит со мной, потому что глаза у меня были открыты, а такого не пережить, что бы ты ни делал и кем бы ты ни был. Я открыл

глаза, чтобы увидеть черноту, заглатывающую обломки корабля — голоднее ее я никогда не видел: темнейшая часть космоса, пожирающая все на своем пути. Я выпускаю Кормака, потому что ему конец, и мне тоже. Я жду и ощущаю, как отказывают легкие, и открываю глаза, всматриваюсь вперед, в ничто, вечно продвигающееся вперед, вперед и вперед, вижу я его или не вижу, и голова моя готова лопнуть. Я не вернулся на корабль, у меня нет шрамов. Я не открывал дверцу, не убивал Арлена, не начинал все заново, растерянный, запутавшийся и одинокий без одиночества. Я этого не делал. Я жду, не случится ли это перед моей смертью и запомню ли я этот момент, если увижу.

Отсюда космос выглядит как из моего сада, откуда угодно. Такой тихий.

Благодарности

Первым и в первую очередь благодарю д-ра Роберта Симпсона, друга и астрофизика. Взявшись за «Искателя», я метал в него идею за идеей. Все, что здесь научно, правильно и логично, относится к нему. В остальном вините меня.

Сэм Коупленд — мой агент, и я бесконечно благодарен ему за его трудную работу. Он увидел этот роман в первом варианте и понял, что из него может получиться. Он сказал мне, что я могу из него сделать, так что благодарите/вините его. И спасибо остальным из RCW.

Спасибо Эми Маккаллох, чьи редакторские замечания улучшали роман с каждым нажатием клавиши «удалить». Спасибо и моему редактору Джой Чемберлен, наговорившей мне самых приятных вещей, какие мне доводилось слышать. Спасибо всем из Voyager Books /HarperCollins UK за все, что они делают так хорошо.

И, наконец, классикам научной фантастики, подвигнувшим меня писать. Стивен Кинг, Рэй Брэдбери, Филип К. Дик, Маргарет Этвуд, Иэн Бэнкс, Джордж Оруэлл.

Харлан Эллисон, Джон Уиндем, Альфред Бестер… все они писали то, что хотели сказать, и никогда не забывали, что история — это главное. Вам стоит найти и прочесть все, что ими написано.